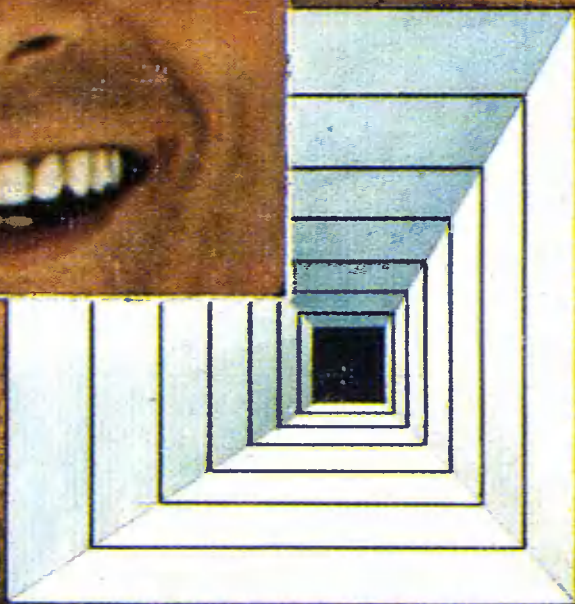
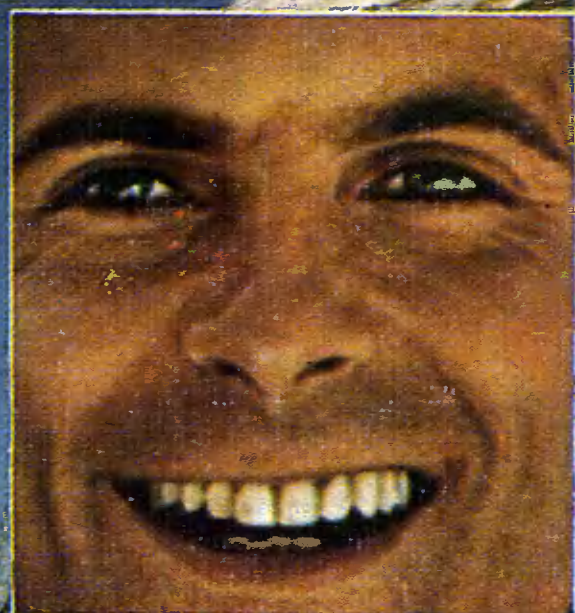


**И
Л**

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ангелика Мехтель
**Но в снах
СВОИХ ТЫ
размышлял...**





ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Angelika Mechtel

Ангелика Мехтель

Но в снах своих ты размышлял

Рассказы

Перевод с немецкого

Предисловие и составление

Нины Литвинец

Москва

«Известия»

1989

**И (Нем)
М 55**

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор И. Кивель

Рецензент Ю. Гинзбург

Обложка художника С. Мухина

М $\frac{4703000000-011}{074(02)-89}$ 68-89

ISBN 5-206-00036-1

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1989

Неласковая дочь мира отчуждения

Определение «неласковая дочь» читатель встретит в тексте книги. Насчет мира отчуждения добавлено нами. Ибо это наиболее емкое определение главной темы творчества писательницы, особенно наглядно, сконцентрировано пропускающей в рассказах. Читателю предстоит, прямо скажем, страницы не очень-то светлые, страницы, где соседствуют одиночество, горечь и отчаяние, страх перед существованием и необходимость за это существование бороться, крах мечтаний и замыслов, еле теплящийся огонек надежды. Ангелика Мехтель пишет о жизни как она есть, не пытаясь что-либо сгладить или приукрасить, сместить акценты или добавить розовой краски. Она — писательница острой социальной ответственности. И именно потому, что она *писательница*, главными ее героями, точнее, героинями с естественной закономерностью оказываются женщины — страдающие, размышляющие, вступающие с окружающим миром в неравную борьбу. Впрочем, не будем спешить навешивать на книги Ангелики Мехтель модный ныне ярлык «женской прозы» или даже — что совсем уж бьет мимо цели — прозы «феминистской». Стоит бросить хотя бы быстрый, короткий взгляд на ее творчество, чтобы понять, что общая тематика и направленность творчества Мехтель много шире «женского» ее обличья, основательнее, глубже, всеохватнее.

Все книги Мехтель обращены к действительности сегодняшнего дня, к конкретной западной действительности, порождающей множество социальных проблем и множество внутренних, психологических конфликтов. Мехтель пишет о том, что хорошо знает, с чем сталкивается постоянно, что происходит для нее «здесь и сегодня», — пишет правдиво, точно, резко, порой даже резкостью этой словно упиваясь, она принадлежит к писателям «поколения семидесятых», вошедшим в литературу на волне мощного молодежного движения, охватившего ряд крупных капиталистических стран. Писатели эти вошли в литературу со стремлением писать реальную жизнь, писать в духе

доброго реализма, искренне и бескомпромиссно, отказываясь от экспериментаторства, от избыточных, как им казалось, стилевых поисков. И пусть не все удавалось молодой писательнице в начале ее творческого пути, пусть ангажированность оборачивалась порой наивным стремлением эпатировать публику, а желание писать реалистично приводило порой к фактографичности и бытописательству — главные свои признаки проза Мехтель сохраняла всегда: продуманность социального содержания, печать подлинного таланта, свой взгляд, свое восприятие мира.

И действительно, во всех своих романах Мехтель остается верна социальной теме, она затрагивает вопросы по-настоящему актуальные, вопросы болезненные, горькие, требующие решения. Тут и одиночество, неприкаянность той части западногерманской молодежи, что по стечению обстоятельств попадает в аутсайдеры, оказывается на задворках потребительского рая («Проигранные игры», 1970), и продажность, коррумпированность средств массовой информации, работа в которых опустошает человека духовно, разрушает личность изнутри («Хочешь не хочешь», 1972), тут и деградация внешне благополучной буржуазной семьи, которой достает еще сил разве только на то, чтобы поддерживать обманчивую видимость мира и благопристойности («Стеклянный рай», 1973), и «холодные времена» западногерманских пятидесятых, принесших наряду с первыми ростками послевоенного благополучия и новые серьезные проблемы («Мы богаты, мы бедны», 1977), и проблема обретения себя самостоятельной, гордой, независимо мыслящей женщиной, которой любовь открывает глаза на многое происходящее в ее стране и в ней самой («Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой», 1980), и утверждение доброты и человечности в мире благодаря вечному, бессмертному женскому началу («Бог и сказительница», 1983), и необходимость разрушить холодную стену отчуждения, с которой сталкиваются дети турецких рабочих ежедневно в школах ФРГ (сказка «Путешествие в Тамерланд», 1985). Во всех этих книгах Мехтель обращается к *проблемам*, стараясь ставить их обнаженно, остро, так, как подсказывает ей собственное писательское чутье. Тягу к проблемности наглядно демонстрируют и документальные книги писательницы:

«Старые писатели в ФРГ» (1974) — сборник интервью со стареющими западногерманскими литераторами, обреченными в большинстве случаев на нищету и забвение, материал пронзительной публицистической силы; «Речь в нашу защиту» (1975) — сборник интервью и других материалов, рисующих бедственное положение в ФРГ жен и матерей тех, кто приговорен к длительным срокам лишения свободы, блистательный образец писательской публицистики, умелого и тонкого использования «человеческого документа».

Публицистичность по большому счету вообще свойственна прозе Мехтель. «Еще одна агрессивная молодая дама» — так называлась когда-то рецензия на первый сборник рассказов писательницы. Можно, конечно, назвать публицистичность, социальную ангажированность, умение принимать близко к сердцу боль ближнего и «агрессивностью» — суть творчества Мехтель от этого не изменится. От нервной ее, лаконичной, точно сфокусированной на главном прозы веет острым ощущением неблагополучия в мире, где обитают героини и герои писательницы. Неблагополучие — порой даже слишком мягкое слово, часто это трагедия, но трагедия будничная, обыденная, почти не заметная для постороннего глаза.

Вот от чрезмерной дозы наркотика погибает беззащитная и беспомощная Ингрид, хорошенькая женщина с кукольным рекламным личиком, брошенная окружающими на произвол судьбы. Ничто, казалось бы, не предвещало столь трагического исхода: ну, купила молодая семья участок, ну, начала строить дом. Вот только строительство это протекало совсем не так, как описывается в рекламных проспектах банковских и страховых компаний. Не по силам оказалась задача неопытным молодым людям. Строительство изматывало их, заставляло залезать во все новые и новые долги, толкнуло мужа на путь грабежа. Лишившись отбывающего в тюрьме свой срок мужа, Ингрид остается в полном одиночестве и не выдерживает давления ситуации. Чуть больше бы ей участия, понимания со стороны окружающих, и не было бы этой банальной бытовой трагедии, трагедии одиночества и внутренней незащищенности.

«Сны Лисички» — тоже психологическая, внутренняя

трагедия, трагедия всепоглощающей мучительной любви, любви сильнее жизни. Но и эта трагедия только «для двоих», окружающие не удостаивают ее даже обычного в таких случаях праздного любопытства.

Мехтель много пишет о женщинах, вынужденных зарабатывать себе на жизнь, подрабатывать к скромному бюджету семьи, где так трудно бывает порой свести концы с концами. «Производственные» рассказы писательницы поражают точностью воспроизведения рабочей обстановки, выверенностью детали, скрупулезным, порой даже утомительным описанием трудового процесса. Это создает ощущение почти документальности, репортажности. Впрочем, точность детали для писательницы не самоцель. За строгим фактографическим планом неизменно проступает другой план, эмоциональный, обнажающий тяжкие психологические стрессы, внутреннюю неудовлетворенность женщины механическим, изгоняющим все человеческое характером труда. Чрезвычайно показателен в этом плане ранний рассказ писательницы «За стеклянным квадратом», достоверно воссоздающий атмосферу одного рабочего дня на фабрике игрушек, в одном из ее цехов. Напряженный, отупляющий ритм примитивного труда пронизан постоянным равнением на часы — только бы успеть, только бы уложиться в норму, только бы выработать приличную зарплату. Многих этот ритм ломает, превращает в послушные и бездумные автоматы, лишённые человеческих проявлений. Но есть и такие, что сопротивляются ему всеми силами своей души, мечтами, воспоминаниями, рискованными шутками и даже — как только что уволенная Эльза — активным действием. Конечно, шутки второго упаковочного цеха могут показаться грубоватыми, даже злыми. Но ведь у этих несчастных, как правило, неустроенных, превратившихся в механический придаток к ленте транспортера женщин есть только такой способ хоть как-то отстоять свое человеческое достоинство, внести хоть на несколько мгновений нечто незапланированное, человеческое в отлаженный бездушный ритм. Рассказ написан в несколько непривычном для Мехтель стилистическом ключе (как видим, дань эксперименту молодая писательница все же отдавала, и получалось это у нее неплохо). Реальность мешается с воспоминаниями, с вы-

мыслом, с желаемым. Писательница словно наглядно демонстрирует возникновение мифа, легенды о стихийном бунте против начальства, обрастающей все новыми и новыми подробностями в сознании работающих женщин. А ведь создание мифа — это первый шаг к протесту уже реальному, к реальным попыткам отстоять собственное «я», собственную внутреннюю свободу.

По-своему протестуют, отстаивая собственную личность, право быть собой, и героини рассказов «Катрин», лаконичного и отчаянного монолога несложившейся женской судьбы, «Денек», разорванной, но собирающейся в итоге в мозаику хроники растоптанного материнства, принесенного в жертву семейному бизнесу. На крайний путь встают Марта («Маленькое путешествие»), отчаявшаяся жена звереющего от пьянки мужа, осознавшая вдруг, что терпеть больше не в состоянии, и «трудный» подросток Марни, забитое, никому не нужное убогое существо, хорошо усвоившее от взрослых, что цели свои нужно осуществлять любыми способами. Общество, спокойно и равнодушно наблюдавшее семейную драму Марты, тут же в негодовании отворачивается от убийцы, обрекая ее даже после отбытия наказания на полное одиночество. И от девочки Марни оно тоже отвернется, вытряся из нее страшную истину, необходимую для «закрытия дела». Все это из области неприметной, бытовой *трагедии*.

На уровне бытовой драмы, даже можно сказать мелодрамы, разворачиваются события и в рассказе «Херб». Однако в слепом своем новообретенном самоутверждении героиня словно преступает некую невидимую нравственную черту и тут же утрачивает способность понимания, любви. За это неизбежно придется платить в будущем. Мехтель словно наглядно демонстрирует, как легко загнанность и безысходность женского существования могут обратиться в бессмысленную жестокость («Из истории одного семейства») — процесс страшный, противоестественный, грозящий разрушением женского естества. И как важно женщине сохранить в себе главную свою сущность — доброту, умение понять другого, умение сочувствовать и прощать, сберегая тепло и потребность друг в друге. Об этом рассказ «На перевале», по настроению близкий поздним романам Мехтель, таким, как упоминавшиеся уже

«Утренние беседы с Паулой» и «Бог и сказительница». В этих произведениях представлена не только всесокрушающая критика, но и — что не менее важно — определенная позитивная, опять же «женская» программа. Это было новое, хотя и характерное явление для литературы конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Неприметно, исподволь, но уверенно начинает доминировать во многих книгах современных писателей и писательниц образ женщины самостоятельной, независимой, свободной в проявлениях собственного «я», пусть даже за свободу эту заплачено достаточно дорогой ценой. Талантливая фотожурналистка Элизабет Матрай (повесть австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Три дороги к озеру»), добившаяся блистательного успеха в далеко не к каждому благосклонном мире прессы, и только начинающая свою самостоятельную жизнь героиня книги Петера Хандке «Женщина-левша», скромная библиотекаря Паула у Мехтель, принимающая самое важное в своей жизни решение, — есть между всеми этими героинями, несмотря на разделяющие их пространственные и временные границы, нечто общее, делающее их близкими друг другу. «Эмансипированные» героини Бахман, Хандке и Мехтель завоевывают и отстаивают свою свободу отнюдь не ради того, чтобы тут же урвать себе кусок от пирога чувственной раскованности и вседозволенности, для них независимость — это прежде всего свобода внутренних проявлений, высокая ответственность перед собственным «я». Обладать такой свободой — это уже счастье, хотя и не такое, как счастье пожертвовать ею в нужный момент ради ценностей несоизмеримо более высоких: привязанности, преданности, любви. Элизабет Матрай так и не суждено было изведать счастье самоотречения, хотя именно к всепоглощающей любви стремилась она всю жизнь. С героиней Петера Хандке читатель прощался в тот момент, когда судьба ее только определялась и оставалось гадать, как сложится она в дальнейшем. Паула же у Ангелики Мехтель находила в себе силы принять «свое решение», принять и бесстрашно осуществить его до конца. Свое маленькое решение принимает и героиня рассказа «На перевале», решение в пользу доброты, любви, понимания. Как и героиня рассказа «Дважды по сыну», мечтающая выра-

стить сына настоящим и, главное, добрым человеком. «В случае войны ты не дашь погрузить тебя на корабль, ты и другие. Я придумываю для тебя шанс, сынок». В этом истинно женское начало, женское призвание. И тут женская тема, без которой, конечно же, невозможно представить себе творчество Ангелики Мехтель, обретает масштаб всечеловеческий. Писательница вместе со своими единомышленницами и единомышленниками утверждает в литературе не только женские права, но и человеческое достоинство вообще, чистый, неискаженный человеческий облик.

Особняком стоят в сборнике два рассказа, которые можно было бы причислить к весьма популярному у нас ныне жанру антиутопии («Но в снах своих ты размышлял» и «Промывочная фабрика»). Страшное, но, увы, не исключаящееся будущее человечества рисуют они. Впрочем, Мехтель никогда не причисляла себя к писателям-фантастам. Ее рассказы — предостережение сегодняшнего дня. Символично название рассказа, давшее название нашему сборнику — «Но в снах своих ты размышлял». Все персонажи Мехтель *размышляют*, пусть только в снах, пусть стоя у конвейера, пусть в «пограничной ситуации», вспоминая всю свою жизнь, но они размышляют, ищут на свои вопросы ответа, и никто не может лишить их этого права. Вместе с ними размышляют писательница и мы с вами.

Читателю, пожелавшему узнать об Ангелике Мехтель побольше, дополнительную — живую и эмоциональную — информацию предоставят два сугубо автобиографических, почти документальных рассказа, помещенных в конце сборника. Это «Месячный баланс» и «Нежная любовь неласковой дочери». Без них портрет писательницы был бы неполным. Зато как хорошо, по-женски, понимаешь ее, прочитав или, точнее, просчитав «месячный баланс»! Увы, какая знакомая, для многих из нас привычная ситуация — вне зависимости от государственной и национальной принадлежности.

Да, Ангелика Мехтель больше пишет действительно о «другой половине человечества». И как представительница той же самой половины, не можешь не испытывать внутренней солидарности с нею, не можешь не переживать за ее героинь, не можешь не убеждаться в общности

многих взглядов и исходных устремлений. Впрочем, рассказы Ангелики Мехтель — для любых читателей, вне зависимости от того, к какой половине человечества они принадлежат. Потому что они — о жизни, о непростой жизни сегодняшнего человека в сегодняшнем обществе, о том, как часто, увы, общество это разобщает, отчуждает людей друг от друга вместо того, чтобы сближать их, воспитывать к добру. К этой высокой цели и устремлены в конечном итоге книги Ангелики Мехтель, действительно «неласковой» дочери своей страны, но с очень нежной, ранимой душой.

Нина Литвинец

Сны Лисички

Жарко, от солнца люди обливаются потом.

Яна стоит в переднем ряду, надеясь, что порыв ветра принесет прохладу, взметнет кверху темные платья окружающих. Как усталые птицы, думает Яна, и чем дальше она здесь находится, тем сильнее обуревают ее досада.

Со вчерашнего дня она записывает все то, чего уже не высказать вслух. Смерть Харальда повергает ее в растерянность, вот она и пытается воспроизвести на бумаге картины, от которых ей иначе не освободиться. По всей квартире валяются исписанные листки.

Ничего, переживешь, думает она и вдруг замечает, что провожающие встрепенулись. Понятно: пришел ее черед покропить святой водою и возложить цветы.

Немногим позже группа распалась, и Яна зашагала по расчищенным кладбищенским дорожкам к автостоянке. От духоты в машине перехватывает горло. Яна опускает боковое стекло и по пути в город чувствует теплое дуновение воздуха.

Ты не виновата, думает она, несчастный случай, один из тысяч.

Машинально она отключает мотор и вынимает ключ зажигания. Машинально идет к дому, поднимается на лифте, отпирает дверь квартиры.

Вот и все, думает Яна, кончилось, толком не успев начаться снова.

Перед отъездом на кладбище она записала: Прыжки по скалам. Падение неотвратимо.

Она забыла эту записку в ванной и наткнулась на нее теперь, разглядывая в зеркале свое лицо.

Ничего ты над собой не сделаешь, думает она, обеими руками отводит с висков рыжие волосы и дотошно выискивает на лице приметы старости.

Ей было семнадцать, когда она встретила Харальда, и двадцать пять, когда она ушла от него. В тридцать лет

она считала себя старухой, но отражение в зеркале с этим не согласно.

Вот уж что тебе и во сне не снилось, думает она, так это подобное отчаяние.

Потому что его похоронили.

Яна приближает лицо почти вплотную к зеркалу, испытующе смотрит в узкие глаза и не находит в них ни печали, ни безнадежного отчаяния. Лицо у тебя изменилось, думает она, в тридцать два оно уже не то, что в семнадцать, не такое остренькое, и скулы округлились. А когда устаешь, можно подсчитать складки у рта и морщины на лбу.

Тебя пугает, что взгляд лишен выражения.

Чужое лицо, думает Яна, отнимая руки от висков. Волосы опять падают вперед, упрямо и жестко топорщатся.

Его похоронили, но это еще отнюдь не конец.

Яна проходит из ванной в гостиную. Уже несколько дней она не прибирала. Среди полных пепельниц и надеванной одежды валяются исписанные страницы.

Может, разберешься, если запишешь все на бумаге, подумалось ей тогда.

Харальд попал в уличную катастрофу по дороге к ней. А она ждала, хотела сказать ему: нам и во сне не снилось, что будет новое начало.

Возьми себя в руки, думает Яна, надо вернуть чувствам привычный порядок.

Не обращая внимания на кавардак, она идет к окну, отодвигает штору, глядит на улицу. На подоконнике лежит письмо, до сих пор не распечатанное. Она знает, это от Харальда. Пришло наутро после несчастья.

Боишься, думает Яна. Это все твои сантименты.

Ведь наша встреча после семи лет разлуки — случайность, не больше.

Она заметила Харальда у перехода, рассматривая лица прохожих на той стороне. Он стоял впереди, устремив взгляд на пешеходный указатель. И как только вспыхнул зеленый свет, зашагал через улицу.

Яна не двинулась с места: пускай подойдет. А он бы прошел мимо, если б Яна не заступила ему дорогу, хотя на секунду у нее и мелькнула мысль не делать этого.

Привет! — сказала Яна.

Харальд оторопело смотрел как бы сквозь нее и молчал. Они стояли рядом. Ни один не знал, с чего начать.

Мы мешаем, сказала Яна и потянула Харальда поближе к стене какого-то страхового офиса. Однако, продолжала она, вид у тебя преуспевающий... Ты пешком?

Только до гаража, ответил он.

Яна подсчитала: почти семь лет. Ты теперь здесь живешь?

В гостинице, сказал он. Деловая встреча.

Может, поговорим?

О чем?

Например, об этих семи годах, сказала Яна и отметила, что, прежде чем кивнуть, он мысленно прикинул, как у него со временем. Ну так где?

Может, я за тобой заеду?..

Впервые за эти несколько минут Яна увидела знакомый жест. Она помнила его руки.

Тебя трудно узнать, сказал он.

Вот как? — машинально обронила Яна и подумала, что должна была сказать: ты мне по-прежнему нравишься.

Дома она сочинила длинный разговор, который начинался этой фразой.

С тех пор как Яна с Харальдом развелись, жизнь ее потекла совершенно иначе, только одно осталось без перемен: во сне она по-прежнему видела всяческие полеты.

Харальд всегда говорил, что это от неполадок с кровообращением.

Когда я лечу, рассказывала Яна, у меня дух захватывает, поневоле ловлю ртом воздух, как ребенок, у которого в горле комом застряла тоска по дому.

Сейчас она стояла у окна и, глядя вниз на улицу, думала: только сны все те же. Воображала себе разговор с Харальдом. Ждала его приезда.

Надо же, думала она, снова встретились. Разговаривать нам будет трудновато.

Ей вспомнился запах высохшей травы на речном берегу; после уроков они с Харальдом часто ездили туда. С той поры минуло уже пятнадцать лет.

Он сажал ее на раму своего велосипеда и вез к реке,

а там на склоне у воды расстилал одеяло.

Изредка над головою пролетал вертолет, и Харальд хвастался: Я бы его мигом из ружья достал.

Вертолеты Яну не интересовали. Ее занимал Харальд. Она еще побаивалась его рук. Когда он прикасался к ней, она, как бы защищаясь, тотчас ложилась на живот и начинала охотиться травинкой на жуков.

Иногда, рисуя в воображении жуков с крыльями, отличающимися золотом, она забывала свои страхи.

Харальд ерошил пальцами ее рыжие космы и говорил: Ты должна отрастить волосы.

Тогда он впервые назвал ее Лисичкой.

Вот до сих пор. И он ребром ладони проводил ей по спине.

Она старалась не вздрагивать, когда он прикасался к ней. Нарочито громко смеялась. Потом опять неотрывно глядела в траву.

Все гредишь, говорил он, предлагая ей сигарету.

Осенью они подолгу гуляли или сидели в кафе «Моцарт».

На свои карманные деньги Харальд угощал ее кока-колой.

Почему Лисичка? — спрашивала Яна.

Посмотри в зеркало, отвечал Харальд.

Она отрастила волосы, как он хотел.

Только поэтому? — допытывалась она. И думала иной раз: ты по-прежнему боишься его.

Я хочу выманить тебя из норы, говорил он, а тебе сразу капкан мерещится.

Перед тем как ему сдавать на аттестат зрелости, Яна забеременела. У нее это в голове не укладывалось.

Ну не может так не повезти, не может, думала она.

Что стряслось? — спросил он. — У тебя будет ребенок?.. Это чувствуется, ты какая-то другая.

Он послал ее к врачу. Оказалось поздно.

Яна шла по улице, ощущая сквозь подметки туфель каждый камень мостовой, и размышляла об этом стуке у себя в животе.

Еще совсем недавно она свято верила, что счастье никогда ей не изменит.

Со мной ничего случиться не может, думала она тогда.

Ты неуязвима.

Младенца вообще она могла себе представить, но не ребенка, который рос в ней.

Я на четвертом месяце, спокойно объявила она Харальду. Таким тоном, словно ее это ничуть не касалось.

Ясное дело, будет нелегко, сказал он.

Яна промолчала. Не подавай виду, что боишься, твердила она себе. Других мыслей у нее не было.

Может, оно и к лучшему, сказал Харальд, может, иначе мы бы разошлись. Давай поженимся, если ты согласна.

Хорошенькое согласие, растерянно подумала Яна и поспешила прочь. Чтобы вырваться из Харальдовых объятий, ей пришлось изо всех сил отпихнуть его.

Тебе этого не понять, говорила она.

С неудовольствием следила Яна, как меняется ее тело, становится тяжелым, круглым. Гуляла она теперь только после наступления темноты.

Это будет девочка, говорил Харальд. Мы назовем ее Джой. «Джой» значит «радость».

Он прямо помешался на этом.

Ты красивая, повторял он и нежно гладил Яну по округлившемуся животу. Ты хоть знаешь, что ты со мной делаешь, а?

Яна не рассказывала ему, что во сне оставляет это грузное тело и птицей устремляется прочь, не то летит, не то плывет по воздуху — так она в сновидениях уходила от погони.

Когда он получил аттестат, они поженились. Харальд устроился на работу, а спустя три месяца родилась Джой.

Яна думала: это все изменит.

Она стирала пеленки и ухаживала за дочкой. Стряпала, прибирала квартиру, точь-в-точь как ее мать, чистила Харальду ботинки и ставила на стол бутерброды, чтобы он поел, вернувшись поздно вечером с работы.

Я буду жить иначе, уверяла она раньше, но уже сейчас руки у нее были точь-в-точь как у матери.

Ты счастливая, думала Яна, налаживаешь семейную жизнь.

Она часто видела во сне Харальда. Чаще прежнего.

Они привыкали друг к другу; постепенно изучили один другого до тонкости.

Нужно запастись терпением, думала Яна.

Когда у Харальда не хватало терпения, ей вспоминался отец, такой же нетерпеливый.

Ничего не попишешь, мужчина есть мужчина, говорила она себе.

Постарайся одолеть страх перед его телом.

Яне хотелось без остатка излить на Харальда все свое чувство. О любви у нее были собственные представления.

Порою он нежно говорил: Лисичка.

Когда он приходил с вечерней смены, Яна уже была в постели. Она не гасила ночник, зная, что сперва он съест бутерброды, а потом усядется поглубже в кресло, положит ногу на ногу и, вспоминая прожитый день, выкурит сигарету. Едва он возникал на пороге спальни, чуть согнувшись — ведь потолки в старой квартире были для него низковаты, — Яна вмиг стряхивала дремоту.

В доме покой, тишина.

Он медленно шел к ней через темную спальню. Садился рядом на кровать, и руки его в кругу света от лампы казались ослепительно белыми.

Тебе не страшно, внушала себе Яна.

Мы никогда не говорим о счастье, думала она, боимся. Она обнимала его за шею и притягивала к себе.

Утром Харальд, как обычно, уезжал на работу, а Яна думала: ничего с нами не случится, хоть он и уезжает каждое утро. Мы же знаем, это необходимо, чтобы наша жизнь устроилась как следует.

Когда Харальд потерял работу, они перебрались из провинции в большой город. После женитьбы он отказался от мысли продолжить образование, ведь нужно было кормить Яну и ребенка. Теперь Джой исполнилось два года, и Яна сказала: Тебе надо учиться дальше. А я пойду работать, и все будет в порядке.

Харальд начал было возражать, но она встречала все возражения нарочито громким смехом. И с энтузиазмом принялась осуществлять свои планы.

Никакой профессии Яна так и не приобрела — замужество помешало, вот почему на первых порах ей волею-неволей пришлось перебиваться случайными заработками. Затем нашлось и постоянное место на небольшом предприятии — прием заказов по телефону.

Такое впечатление, говорила Яна, будто я два года про-

сидела взаперти, в мягкой, теплой, темной лисьей норе.

На свободу рвешься, сказал Харальд.

А тебе страшно?

Ты моя жена, ответил он.

Вот закончишь университет, и станет полегче. Надо набраться терпения, сказала Яна.

Она заметила, что Харальд все больше курит. Утром, по дороге в университет, он отводил Джой в детский сад, а вечером, когда возвращалась Яна, сидел в гостиной и раскладывал пасьянсы. Час, а то и два сидел за столом и выстраивал длинные карточные полосы. Яна садилась рядом и смотрела, как его руки кладут черное на красное и даму на короля.

Почему? — допытывалась она.

Он пожимал плечами.

Ты замыкаешься в себе, говорила Яна.

Я устал, отвечал Харальд.

Ты несчастлив? — спрашивала Яна, и этот ее вопрос Харальд никогда не оставлял без ответа.

Я все-все запишу, думает Яна.

Она выпускает из рук штору и на шаг отходит от окна. Теперь видны только корпуса напротив. День жаркий, окна открыты, и жалюзи наполовину опущены.

Ты в замкнутом круге, думает Яна. Нагибается, поднимает с пола какую-то вещицу, вешает ее на ручку кресла. Потом идет на кухню и заваривает себе чашку растворимого кофе.

Надо написать Джой в интернат, что отец погиб в уличной катастрофе.

Я не виновата, думает Яна. Это все нервы.

С кофейной чашкой в руке она выходит в переднюю и — останавливается перед зеркалом. Он умер, а в этом лице ничто не изменилось.

Ты умеешь быть совершенно спокойной, думает Яна.

Она сдвигает в сторону исписанные листки на журнальном столике, расчищает место для чашки. Закуривает, маленькими глотками прихлебывая кофе.

Поверх чашки читает на одном из листков: Я никогда еще не произносила слова *счастье*, я боюсь сказать его вслух.

Все у тебя не как у людей, думает она.

А что, собственно, можно считать нормальным, «как у людей»? Ты спрашиваешь себя, что увидишь во сне сегодня ночью.

Когда она ушла от него, никакой драмы не было. Харальд окончил университет и получил хорошее место; Джой училась в школе.

Харальд договорился с нею о встрече — в последний раз. Увиделись они в одной из гостиниц.

От вокзала до гостиницы Яна шла пешком. Одежда липла к телу, во рту мерзкий вокзальный привкус. В сквере возле гостиницы она запрокинула голову и принялась высматривать на старых каштанах первые крошечные плоды. На гостиничной террасе звякали ложки по металлическим бокалам с мороженым. Мимо этого звяканья Яна направилась к подъезду. Мечтая очутиться под душем. У стеклянных дверей она столкнулась с Харальдом.

Наверно, он сидел за одним из боковых столиков, подумала она. Подкарауливает.

Сначала она увидела лишь белую рубашку, запахнутый ворот и кусочек волосатой груди.

А я уже тебя искал, сказал Харальд.

Мы ведь договаривались на восемь, всполошилась Яна. Лицо у него было загорелое. Он повернулся к столику у входа. Как насчет кофе?

У Яны мелькнула мысль о бегстве.

Еще полчаса, сказала она.

Девушка-администратор только-только затушила сигарету, когда Яна спросила про комнату.

Номер 31 был похож на все гостиничные номера: спертый воздух, кровать, стол, стойка для чемоданов и кресло. Яна не представляла себе, как они с Харальдом будут разговаривать в этой комнате. Она заперла дверь и оставила ключ в замке.

От жары ноги распухли, и Яна натерла мозоли. Она поставила на пол дорожную сумку, сняла босоножки и разделась, бросая одежду где придется. А потом пошла под душ. Замечательная штука — холодная вода!

Так бы и жила в водопаде, думала Яна. Ей представилось, как холод снаружи проникнет вовнутрь и оградит

ее от ее же собственных чувств.

Сейчас или никогда, подумала Яна.

Она знала, что Харальд с нетерпением ждет.

Ему этого не понять, размышляла она, а раз так, надо быть спокойной и безразличной.

Когда через двадцать минут он постучал в дверь, она не удивилась.

А ты нетерпеливый, заметила Яна, пропуская его в комнату. От ее ног на линолеуме оставались влажные следы.

Она видела, как он медленно обвел взглядом кровать, стол, стойку для чемоданов и кресло у окна.

Садись, сказала Яна. Она была в купальном халате, а мокрые волосы откинула назад.

Ты сердишься? — спросил он. Она села на кровать, положила ногу на ногу и поискала на тумбочке в изголовье сигареты.

Возврата нет, сказала она, для нас обоих.

Ты должна говорить с ним как с другом, думала она.

Я тебя не понимаю, сказал он, шагнув к ней.

В комнате было тесно. Два-три шага — и его длинные руки обнимут Яну. Она отпрянула. Попробовала объяснить: дело тут не только во внешних обстоятельствах.

На свободу рвешься, сказал Харальд еще тогда, обнаружив, что Яна переменялась. Начала отдаляться от него.

Я стала другой. Может, не пойдешь я работать, все тянулось бы дольше, сказала Яна. Я словно вышла на свет из узкой темной норы.

Яна протянула руку, коснулась его плеча.

Мне иногда кажется, будто мы пленники глубины и над головой у нас недвижная вода. Я просто сплю и вижу, чтоб налетел ветер.

Харальд повернул голову, бросил взгляд на руку, лежащую у него на плече, но промолчал.

Временами Яна буквально задыхалась. Места себе не находила, рисуя в воображении, как Джой будет подрастать, а она стариться, как Харальд будет раскладывать пасьянсы и корпеть над книгами и тетрадями.

Вечерами она часто подходила к зеркалу и пытливо разглядывала свое лицо. Волосы у нее были до плеч; обеими руками она отводила их с висков и спрашивала себя, какими они станут потом.

Ты под замком, взаперти, думала она.

Во сне она порою ловила птиц и ночью выпускала их на волю. В горле у нее стоял комок, словно от тоски по дому.

Харальду оставалось сдать выпускные экзамены, и как раз в это время они стали все чаще ссориться. Из-за пустяков.

Можно бы и огрызнуться, думала Яна, только тебе же хуже. И цепенела от страха.

Ты боишься, думала она. Надо обуздать свои эмоции.

О чем ты думаешь? — спросил Харальд, успокоившись, и потянулся к Яне рукой.

Не знаю, сказала она, встала, взяла пальто и шарф.

Куда ты?

Вернулась она уже около полуночи. Харальд лежал в постели и читал. С порога спальни она видела его голову в круге света от ночника. Он повернулся к ней, и у Яны сжалось сердце: до чего же беспомощный! — но она тотчас отогнала эту мысль.

Чего ты хочешь? — спросила она. Ты держишь меня за горло, мне дышать нечем.

Харальд встал с кровати, подошел к Яне. Бережно снял с нее пальто, потом шарф.

Ты замерзла, сказал он. Ложись, поздно уже.

Ничего он не понял, думала Яна, и тебя он не знает.

Потом они лежали рядом, в темной комнате. Он ощупью потянулся к ней рукой, хотел погладить по щеке. Щека была мокрая от слез.

Все без толку, думала Яна, ты ничего не чувствуешь. Опустошена. Ты не хотела этого.

Решиться на разрыв с Харальдом было для Яны уже только вопросом времени.

Я не представляю себе, как это — жить в твоей тени, сказала Яна, и дело тут не в тебе одном.

Напрасно я позволил тебе вырваться на свободу, сказал Харальд.

Ты считаешь себя вправе мною распоряжаться?

Ты моя жена.

Мне все время снятся полеты, например птицы.

Джой Яна забрала с собою. И постаралась потерять Харальда из виду. Лишь слышала о нем от Джой, которая

в каникулы ездила к отцу.

Случайность, эта встреча спустя семь лет. Ты больше не боишься, думала она, уговариваясь с ним на вечер. В ожидании Харальда она невзначай вспоминала все то, что делало их обоих счастливыми.

Вскоре после восьми Харальд позвонил у подъезда, и Яна спустилась вниз.

Он заказал столик у «Милана». И одет был в костюм из английской шерсти.

Она смотрела, как он изучает меню, заказывает вино. Хочет повернуть время вспять, по всему видно.

Потом Яна пригласила его к себе. Сама прошла в ванную, а он ждал в гостиной. При свете торшера.

Ты изменилась, сказал Харальд.

Она села в кресло у окна. Когда она поворачивала голову, ее рыжие волосы поблескивали в полутьме.

Ты по-прежнему видишь сны? — спросил Харальд.

Боишься? — спросила Яна.

И шагнула к нему из темного угла. Уверенно, спокойно.

Сомневаюсь, знаю ли я тебя еще... — пробормотал Харальд.

Ты должна сказать ему: какое счастье, что мы снова встретились, думала Яна. Но в нежности своей робела.

Оба стали осторожны.

Мы уже толком не знаем друг друга, сказала Яна, ты больше не покатаешь меня на раме, ясное дело.

Он раздался в плечах, черты лица стали резче.

Ты счастлива? — спросил он.

А что, на вид похоже?

Вообще-то изменилось мало что. Я по-прежнему вижу во сне полеты, но я приноровилась.

Устала? — спросил Харальд.

Один-единственный раз он остался у Яны на ночь. Яна проснулась оттого, что он кричал во сне. Эти крики напугали ее. Она не знала, что ему снится, и потрясла за плечо, чтоб разбудить. Он повернулся на другой бок и потом спал спокойно.

Мы говорили о смерти, но не думали, что она настигнет нас, пишет Яна.

Нетерпеливым жестом отводит со лба волосы.

Голова болит, думает она, ничего удивительного.
Вечер. В комнате душно.
Она встает, подходит к окну, распахивает обе створки.
На улице не посвежело.
Ни ветерка, думает Яна.
Люди идут с работы.
Надо обязательно написать Джой, думает Яна, или съездить к ней.
Прыжки по скалам. Ее отражение в зеркале.
Ничего ты над собой не сделаешь, думает она, переживешь.
Волосы у нее упрямо и жестко топорщатся.
Прическа та самая, что нравилась ему.
Тебе не вытравить его из памяти, думает она.
Потом распечатывает письмо, которое так и лежало на подоконнике.
Мне кажется, пишет Харальд, на сей раз ты заберешь меня к себе в нору. Но уходить нужно, пока праздник в разгаре. Скажи Джой, это был несчастный случай.

Волчата

Сотрудницы нашей уголовной полиции — люди опытные и детей допрашивать умеют. Действуют они без спешки, бережно, осмотрительно. Ребенок даст показания — ведь так нужно.

— Ты должна рассказать нам обо всем, что видела. Это очень важно. Ты сама поймешь, когда вырастешь большая.

— Раз ты их видела, ты — свидетель. Рассказывай, а мы все запишем.

— Стало быть, они бежали по железнодорожной насыпи. Она, как ты говоришь, удирала от него. Со всех ног. Помнишь? Был вечер, но ты все равно их узнала, так?

— Не волнуйтесь. Мы прекрасно понимаем, что ей только двенадцать лет. Но опыт показывает — кстати, этот вывод подтверждают и ученые, — что, высказавшись, ребе-

© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1976

нок освобождается от стресса. Наши сотрудницы знают свое дело. Так что не волнуйтесь.

— Они не шли, а бежали, да? При чем он ее догонял?

— У него ноги длинные-предлинные.

— Так ты нам рассказывала. Или все было по-другому? Не помнишь, что у него было в руках — палка или домкрат?

— Я видела, как она кричит, но ничего не слышала: ветер дул от меня... В руках у него был топор. Он мчался огромными скачками. Гнался за ней. Она сама его довела. Я видела.

— Ну откуда он вдруг взял топор? Ты же была довольно далеко. Наверное, это была палка или домкрат, ты ведь сама говорила.

— Я видела, как он блестел на солнце.

— В среду шел дождь.

Девочка толстая, зовут ее Марни.

— Не сочиняй, ладно? Ты ведь у нас умница, а, Марни? В документах значится, что в августе ей сравнялось двенадцать. Рост — метр пятьдесят восемь, довольно полная, глаза голубые, лицо овальное.

Особые приметы?

Отсутствуют. Учится посредственно.

— Решай, Марни. Какой тебе смысл выдумывать разные басни?

— Жила-была женщина, — говорит Марни, — у нее было четверо детей и пятьдесят пять зверюшек. В один прекрасный день все звери передохли, а муж исчез.

Марни разглядывает сотрудниц полиции. Одна сидит на стуле за письменным столом, другая — помоложе — устроилась на краешке стола. Она наклонилась вперед и изо всех сил старается придать своему лицу ласковое выражение. Обе не в мундирах, но зато с одинаковыми прическами.

Марни представляет себе, как утром они стояли под душем. У той, которая старше, плохая фигура. А от молодой приятно пахнет.

Пусть себе болтают.

Ноги у нее волосатые. И юбка в обтяжку...

Дело в том, что Ральф обзавелся шикарной «коро-

синкой».

«Прокати меня на своем “кавасаки”, а?» — попросила однажды Марни.

Ральф был уже в седле. Он повернул голову и растянул губы в усмешке, но забрало шлема даже не приподнял.

Не стоит об этом думать.

Дома уже на лестнице воняло цветной капустой и котлетами. Марнина младшая сестра ревела в передней, а мать, как водится, поджала губы в ниточку и грустно смотрела в пол.

Перед обедом хочешь не хочешь, а мой руки. «Ты старшая,— говорил отец,— тебе и молитву читать». Прииди, господи. Когда он злился, он всегда бил тыльной стороной руки. С размаху, по лицу. А у нее всякий раз шла носом кровь. Во время молитвы у Марни вечно был полон рот слюней, и поэтому она пришепetyвала.

— Так вот,— начинает Марни,— дело в том, что, когда он привез ее на своем «кавасаки», я уже была там.

Трава была высокая, кругом валялись банки из-под колы, грязные бутылки и прочий мусор.

— Ральф у скаутов командует отрядом,— рассказывает Марни,— он и ночует со своими волчатами в лесу, они там костры разводят.

На том месте у насыпи Марни бывала много раз, оно ей нравится. А с Ингой Ральф встречается только полгода.

Марни его давно знает. Он живет неподалеку. Когда он кончил школу, отец подарил ему «кавасаки». Сама Марни второй год ходит в гимназию.

— Подкрадываться я выучилась не у скаутов,— объясняет она.— Девчонки там только и делают, что коврики из лоскутьев вяжут. Уж я-то знаю.— Тот день был довольно жарким. Марни вспотела, и на влажную кожу поминутно садились комары. Времени у нее было сколько угодно. Кто их знает, придут они сегодня или нет. Укрывшись за кустами, Марни лежала на животе среди высокой травы. Мимо прогромыхал товарняк, потом из-за насыпи донесся рев Ральфова мотоцикла.

— Иногда я нарочно давала им себя укусить. Они прокалывают хоботком кожу и на глазах разбухают. Вот тут-то я их и прихлопываю. Если сразу высосать яд, то совсем не чешется. Правда-правда,— говорит Марни.

Раз или два в неделю он привозил Ингу к насыпи. Чаще всего в понедельник, после обеда: она училась на парикмахера и в это время была свободна. А еще в среду или в четверг. По субботам там чересчур уж много парочек. А зимой туда вообще никто не ходит.

Марни мечтала, чтобы на рождество ей подарили кукольную колыбельку. Она умеет разговаривать с куклами.

А с Ральфом она познакомилась в апреле, на празднике святого Георгия.

— Тогда у него еще не было «кавасаки», — рассказывает Марни. — Домой нам по дороге, вот я и пошла с ним. Он ссутулился и вытянул шею вперед. Руки он спрятал в карманы. А когда вытащил, оказалось, они у него здоровенные, как грабли. Говорил он мало.

— Ну вот что, Марни, наведи-ка порядок у себя в голове.

Марни сама знает, что хорошенькой ее не назовешь: слишком уж пухлая, и зубы торчат вперед, и волосы как солома.

— Да, родителям с тобой нелегко, могу себе представить.

— Я появилась на свет с помощью щипцов, — отвечает Марни.

Мать рассказывала своим приятельницам, что Марни родилась с длинной и скошенной головой. А потом, в тяжелые послевоенные годы, у нее даже волосы зеленые были.

— Она ставила мне на голову компрессы из рыбьего жира, — сообщает Марни.

В документах написано, что ее отец — адвокат.

— Слушай, Марни...

— Чего?

— Рассказывай и начни-ка с того, как он гнал за ней по насыпи. Ведь дело было так?

У старшей — той, что сидит за столом, — на верхней губе темный пушок. И когда она молчит, рот все равно приоткрыт, самую малость. А ногти у нее покрыты лаком.

Марнина мать тоже красит ногти, но лунки никогда не трогает. Они у нее светло-розовые и красивой формы.

— Ральф тебе с самого начала понравился?

— Сперва я познакомилась с Ингой. У нее на щеке

родинка с двумя черными волосками.

Сотрудница помоложе соскальзывает со стола, расправляет юбку и пытается улыбнуться девочке. В окно Марни видит телевизионные антенны на крышах невысоких домов. А старшая все жмет и жмет на кнопку шариковой ручки. Марни слышит легкие щелчки. Она по-прежнему спокойно сидит на стуле, куда ее усадили эти женщины. Главное — не шевелиться.

— Это был не домкрат,— говорит Марни,— а вовсе даже пила. Я видела, как она заорала... Понимаете, мимо промчался поезд... Мне то и дело хочется по-маленькому,— сообщает она.— Раз меня отправили поездом к бабушке. Целых три часа я просидела в купе, ведь в уборную выйти нельзя — я бы непременно перепутала двери.

— То, что ты нам рассказываешь,— говорит молодая,— звучит прямо-таки фантастически.

— Лучше сосредоточиться на деле, Марни. Может быть, он совсем и не хотел ничего такого.

— Может, это несчастный случай.

— Или ты, Марни, все выдумала. Скажи, ты часто выдумываешь, а? Только честно.

Прежде чем ударить, отец всегда прищуривает глаза.

— Я все записываю,— говорит Марни.

Марнина мать считает, что у ребенка талант. «Сколько раз вам говорить: будьте с ней поласковее. Как знать, что она после напишет в своих книгах».

— Будьте со мной поласковее,— просит Марни.— Вот Ральф — тот всегда обращался со мной по-хорошему. А отец нет, из-за него у меня только кровь носом идет. Он не разрешал мне держать дома животных.

И все-таки Марнина мать купила ребенку к конфирмации волнистого попугайчика, в клетке, конечно.

— Я его выпустила,— сообщает Марни.— А после его заела соседская кошка. Живот ему прокусила.

Утром Марни нашла пичугу на подоконнике. Попугайчик был еще жив, и Марни сунула его себе за пазуху, под ночную рубашку.

Потом ей подарили хомячка. По ночам он шуршал.

— Я же не виновата,— говорит Марни,— что однажды утром клетка оказалась открыта, а хомяк исчез! Он прогрызся в отцовском кабинете под паркет.

В конце концов Марни притащила домой голубя, ей дали его в обществе защиты животных.

— Его в клетке держать нельзя, он слишком велик,— рассказывает Марни.— Вот и спал на карнизе в детской. А наша прислуга все твердила, что ходит к нам убирать только ради мамы... Нет, все-таки хорошо, когда дома есть животные. После Ральф подарил мне другого попугайчика, самочку. Но самочки не разговаривают.

А еще до этого появилась Инга. Она присматривала за Марни и ее младшей сестрой, когда мать вечерами ходила на публичные лекции.

— Как только все уходили, Инга начинала с нами играть. Платили ей пять марок.

Инга была всего тремя годами старше Марни. Марнина мать говорила, что она очень толковая. Жила она с родителями, на первом этаже, в привратницкой.

Один раз Марни спросила у нее, как это бывает, когда женщины себя плохо чувствуют, и Инга ей объяснила.

— От нее пахло какой-то кислятиной,— говорит Марни. Мать Марни ходила в университет слушать Гуардини*.
— Эти пять марок были ей очень кстати,— добавляет Марни.

Всего два года назад Инга училась в школе, но выпускные экзамены так и не сдала.

А Марни пошла тогда с Ральфом просто потому, что им было по дороге.

— По-моему,— говорит Марни,— он не принимал меня всерьез. Однажды,— продолжает она,— мне тоже стало плохо, прямо на лестнице. Я как раз шла домой обедать. Правда-правда. Ни с того ни с сего голова ка-ак закружится!

«Быть не может!» — сказала Марнина мать.

А отец заметил: «С ума сойти».

— Мне было десять лет,— рассказывает Марни.— В тот день меня больше не пустили гулять.

Так она и сидела в четырех стенах, воображая, как другие ребята кувыркаются во дворе на стойке для выбивания ковров. Еще они собирались привязать одного из соседских мальчишек к пыточному столбу. Когда в дверь по-

* Романо Гуардини (1885—1968) — западногерманский философ и теолог; по происхождению итальянец. (Здесь и далее — прим. перев.)

звонила подружка, Марни открыла только щель почтового ящика. Сквозь нее был виден подружкин живот да ноги, если посильнее скосить глаза вниз.

«Я не выйду. Нельзя,— сказала Марни.— У меня голова болит».

После голубя Марни завела себе лягушку в банке.

— Я ловила ей помойных мух,— рассказывает она.— А зимой она вся высохла и подохла.

— Тебе очень повезло,— говорит старшая,— что у тебя были животные.

— Папа сердился,— говорит Марни.— Хомячок по ночам бегал по нему.

— Мы запишем, что ты рано созрела физически.

Каждый вечер, когда Марни сидела в ванне, мать говорила отцу: «Ребенок растет как на дрожжах».

— Я росла не по дням, а по часам.

— Видишь ли,— говорит младшая,— к сожалению, мы хотели бы поговорить с тобой о другом. Вспомни, Марни, что ты должна нам сообщить.

Марни видит, что старшая смотрит на часы, украдкой, чтоб Марни не заметила; часы у нее повернуты внутрь запястья. Ручку она отложила в сторону.

Младшая сотрудница скрестила руки на груди и потирает плечи, будто замерзла.

— Что случилось? — спрашивает Марни.

— Мы, конечно, понимаем, у тебя свои заботы, деточка,— говорит старшая.

— Ага,— отзывается Марни.

— Знаешь,— предлагает молодая,— мы можем встретиться как-нибудь и после работы, если хочешь. Тогда ты, Марни, расскажешь мне обо всем. А сейчас нам нужно только узнать, что произошло во вторник три недели назад.

— Ты помнишь, Марни?

— Мне всегда невтерпеж,— говорит Марни.

— Может, съешь что-нибудь? — спрашивает старшая. Теперь она вертит в руках карандаш.

— Спасибо,— благодарит толстушка Марни.— Я никогда не перепадаю.

Она отлично понимает, что обе стараются скрыть

удивление.

— Скоро обед,— предупреждает старшая.

— Слушай, Марни, расскажи нам четко и ясно обо всем, что видела. Ты ведь уже рассказывала полицейскому, который приходил к вам домой.

— Да,— кивает Марни.

Она следит, чтобы выражение лица у нее не менялось.

Интересно, кто вытирает пыль с фикуса возле окна? Такое страшилище, думает Марни.

— Видите ли,— говорит она,— я все написала, а очки забыла дома.

— В наших документах нет ни слова о том, что ты носишь очки.

— В детстве,— объясняет Марни,— я косила. В скверные послевоенные годы у меня были зеленые волосы и косые глаза. Мама целых пять ведерок повидла отдала за оправу для очков. А я ее сломала, когда мама выволакивала меня из трамвая.

— А зачем она это сделала, Марни?

— Я не хотела выходить,— отвечает Марни.

Марнина мать любит рассказывать, как Марни в довершение всего улеглась на трамвайные рельсы. «И вы знаете, моя сестра наотрез отказалась погулять с Марни, когда я ее попросила: мол, с таким ребенком она ни за что гулять не станет».

— Ну хорошо,— говорит старшая.— Давай-ка вернемся к Инге Мозер.

Марни видит, как она резким движением — так получилось нечаянно — выхватывает из скоросшивателя лист бумаги и приподнимает его, чтобы прочитать.

— Дело в том,— говорит Марни,— что ребенком я несколько раз падала. С лестницы.

— Марни,— увещевает младшая, пытаюсь придать своему голосу мягкость.

— Сейчас я тебе прочту, что мы выяснили,— говорит старшая.

Марни тоже говорит мягким голосом:

— Это все из-за глаз. Окулист сказал маме, что первые три года жизни я видела только расплывчатые контуры предметов.

— Ну ладно, хватит об этом,— перебивает сотрудница,

сидящая за письменным столом.

— Это наследственное,— объясняет Марни.— От отца. Молодая опускает руки, подходит к Марни и хочет обнять ее за плечи. Марни вздрагивает.

— Девочке холодно,— говорит та.— Ты устала, да, Марни?

Она наклоняется, и Марни чувствует запах лака для волос, мыла и одеколona. Если скосить глаза, то видно воротник блузки, кусочек кожи, испещренный тоненькими бороздками и порами, и совсем чуть-чуть — темную ложбинку между грудей.

— Дело в том, что теперь я не ношу очков. С тех пор как Ральф обратил на меня внимание.

— «В среду, двадцать пятого апреля,— читает старшая,— у железнодорожной насыпи, на двадцать третьем километре, был обнаружен труп Инги Мозер».

— Без очков я вижу точно так же, как в очках.

— «Тогда влезай на “керосинку”»,— сказал Ральф. Мы поехали к насыпи,— рассказывает Марни.— Ральф обратил на меня внимание, когда мне исполнилось одиннадцать.

Она села к нему за спину, обхватив коленками мотоцикл и упершись ступнями в педали.

«Держись крепче, очковая змея»,— сказал Ральф.

Марни обеими руками ухватила за его кожаную куртку.

«Не так». Ральф разжал ее пальцы и сцепил их у себя на груди.

— Я повисла на нем, как лягушка на стенке банки,— говорит Марни.

Она упиралась головой ему в лопатки, прижималась щекой к кожаной куртке, вдыхала запах ветра, кожи, бриолина и чувствовала, как напрягаются его мышцы.

— Мне было страшно,— говорит Марни.— А вдруг я упаду! Руки и ноги затекли, внутри все прямо огнем палит. Как на «американских горах»: в животе как будто что-то обрывается... Он был со мной очень ласков,— продолжает она,— а возле насыпи не было ни души.

Мы сидели на траве, изредка переговаривались.

Кругом раскиданы банки от кока-колы, а трава высокая, но уже пожелтевшая. Марни сидела на земле рядом

с Ральфом; он прислонился к своему «кавасаки», вытянул ноги, закинул их друг на дружку и скрестил руки на груди, подставив лицо солнечным лучам. Черный шлем он повесил на руль.

— Свои потные руки я прикрыла юбкой,— говорит Марни.

Она видела, как Ральф дышит, волосы у него слиплись прядями и блестели. Зачесаны они были назад. А на подбородке у Ральфа торчали крохотные щетинки.

— Я почти что не дышала,— рассказывает Марни,— и сидела тихо-тихо. Главное — не шевелиться. Я старалась помалкивать, только на его вопросы отвечала.

«Тебе нравится у скаутов?» — спросил Ральф.

«С девчонками скучно,— сказала Марни.— Лучше бы я была с волчатами. Тогда можно было бы ночевать в лесу, у костра».

«Да брось ты! — сказал Ральф.— Ты ж сама девчонка».

— На мне были белые носочки и красные сандалии,— вспоминает Марни.— Как было здорово,— продолжает она.— Один раз он даже брал меня на речку купаться.

Он знал одно местечко за городом. Марни тем временем перестала бояться крутых виражей.

— Он плавал как рыба,— рассказывает она.— И носил черные плавки с завязками на боку.

Когда он вниз головой прыгал с обрыва в воду, Марни смотрела на впадинку между его ягодицами, не прикрытую плавками.

«Ну давай! — сказал Ральф.— Жир не тонет!»

— Я боялась,— сообщает Марни,— что течение меня снесет. Но в воду все-таки полезла. А он сидел на другом берегу и смотрел, как я к нему плыву. Я вообще часто делаю то, чего больше всего боюсь,— поясняет Марни.— Так приятно, когда страх все тело сковывает. Жутко приятно.

А зимой,— рассказывает она,— Ральф уехал в другой город учиться. Он обещал мне писать. Но до самого рождества так ни строчки и не прислал. А у меня адреса его не было.

В первый день рождественских праздников его «кавасаки» стоял у тротуара возле дома, где живут его родители.

— Я до него не дотрагивалась,— говорит Марни.

Она стояла около мотоцикла и ждала, когда появится Ральф.

Смотрела на входную дверь, потом на окна, где в гостиной горел свет. Было четыре часа, уже темнело.

«Ты что здесь делаешь? — спросил Марнин отец, он как раз собирался поставить в гараж машину.— Ступай наверх, к матери».

После, уже в детской, она слышала, как взревел мотор и «кавасаки» умчался.

— Ральф больше не мог оставаться командиром у волчат,— говорит Марни,— он ведь жил в другом городе.

— Мне пора идти,— говорит Марни и поднимается со стула.

— Куда это ты, Марни? — спрашивает молодая сотрудница.— Нельзя же просто так взять и уйти.

— Я тут кое-что придумала,— отвечает Марни.

— Что же именно?

— Я подумала, что если соберу рюкзак, подстригусь совсем коротко, зачешу волосы назад, обмотаю грудь шарфом, чтобы она стала плоская, надену брюки и свитер, то смогу пойти к волчатам. Мама будет плакать, а отец, ясное дело, раскричится.

— Минутку,— перебивает старшая, встает из-за стола, подходит к Марни, берет ее за плечи и вновь усаживает на стул.— Это ты просто так подумала.

На ней темные чулки и тяжелые туфли, словно она собралась в горы.

— Так дело не пойдет,— поддакивает младшая и тоже берет Марни за плечо.

Марни следит, чтобы выражение лица не изменилось. Переводит взгляд с одной на другую. Женщины заслоняют окно.

— Ладно,— говорит Марни.— Инга бежала впереди, а Ральф за ней.

Она слышит, как обе с облегчением вздыхают.

— То-то же,— говорит младшая.

Они делают шаг в сторону, и Марни тоже облегченно вздыхает.

— Теперь расскажи нам все по порядку, а мы запишем,— командует старшая. Она выдвигает стул из-за стола

и садится напротив Марни.— Ты хорошая девочка, Марни.

Марни не поворачивает головы, только косится влево, туда, где молодая устраивается за пишущей машинкой и вставляет лист бумаги.

— Значит, ты хорошо знала и Ингу и Ральфа,— говорит старшая.

Марни кивает.

— И ты видела, как он на насыпи ударил ее чем-то и она упала?

Марни слышит стук пишущей машинки. Звук неравномерный. Никак от него не отключишься.

— Ты что, Марни, язык проглотила?

— Говори же, деточка!

— Ты узнала Ральфа, но была далековато, чтоб разглядеть, чем он бил — палкой или домкратом, верно?

— Если тебе трудно говорить, Марни, ты только кивай или мотай головой. Ты устала, Марни?

— Дело в том,— отвечает Марни,— что я их застукала.

— Вечером я возвращалась с урока музыки, а они стояли в темном подъезде на углу. И он ее целовал. Они стояли боком,— говорит Марни,— я их узнала.

Было это в феврале. Марнины ботинки промокли от снежной каши на тротуаре.

— Одной рукой он обнимал ее за плечи, а другая лежала у нее на талии,— рассказывает Марни.— Пальцы растопырил и так впился в нее, что пальто и юбка задрались вверх. Это была Инга. Когда он ее выпустил, она отвела волосы с лица. Я тогда уже не ходила к скаутам, вязать можно и дома. К тому же мне до смерти надоело переводить через улицу стариков,— добавляет она.

«Не понимаю, что такое с ребенком,— говорила Марнина мать Марниному отцу.— По выходным целыми днями торчит у окошка в спальне, будто на улице бог весть что происходит».

В марте снег стаял, и Марни по субботам играла с соседскими ребятами в классики до тех пор, пока вдали не раздавался рев «кавасаки».

— Я сразу бросала игру,— говорит Марни.

Вечером он заходил за Ингой. Они шли в кино. Заметив Марни у входа в кинотеатр, Ральф окликнул ее: «Эй,

Марни! Как дела в школе?»

— На карманные деньги я купила себе аквариум,— сообщает Марни.— Там жил сомик и кое-кто еще.

Сомика она назвала Ральфом. А временами забывала поменять воду и накормить рыбок.

— Прожил он недолго,— говорит Марни.— А когда подох, то всплыл кверху брюшком. Я похоронила его в цветочном горшке.

У матери в кухне стоял фикус. Она каждую неделю вытирала с него пыль. Прислугу к цветам не подпускали.

— В апреле стало тепло,— продолжает Марни,— и он сажал ее на свою «керосинку» и увозил за город.

А Марни, сами понимаете, за ними подсматривала.

— Руки у меня потели, а в животе все обрывалось. А смотреть все равно смотрела, во все глаза, прямо дух захватывало. Я мечтала умереть и лежать в гробу, чтобы они все плакали. Ральф, думала я, будет пахнуть кожей и бриолином, а Инга — кислятиной, мать снова подожмет губы в ниточку и будет глядеть в пол, а отец наденет шляпу.

Марни даже плакала, представляя себе эту жалостную картину.

Умереть и видеть со стороны, как ты сама лежишь мертвая.

В хорошую погоду он возил Ингу за город, по понедельникам и средам.

Однажды Марни взяла у отца дорожный атлас и подсчитала: Ральф гнал со скоростью сто пятьдесят километров, чтоб вовремя поспеть домой.

— Потому что он учился,— объясняет Марни.— А у нас в школе ребята вечно ко мне приставали: пусти на балкон! — ведь у меня уже был бюст.

Марнина мать говорила: «Тебе пора носить бюстгальтер».

— Он по ней с ума сходил,— продолжает Марни.— Я лежала в траве за кустами, уткнувшись лицом в согнутые руки. Я слышала, как он дышит, точь-в-точь дикий зверь. Между прочим, я хорошая девочка, одаренная. Однажды Инга не захотела поехать с ним к насыпи. Тогда он позвал меня.

Земля была сырая, трава совсем низенькая, а мимо время от времени мчались поезда.

— На рождество,— говорит Марни,— я дарю родителям

стихи. Мне это раз плюнуть. А когда грустно, я разговариваю с куклами... Я все-все записала.

Марни выпрямляется. Она видит обеих женщин. Машинка умолкла. Старшая приоткрыла рот, обнажив кончики зубов.

— Я буду читать,— говорит Марни и достает из кармана клочок бумаги,— а вы записывайте. «Это случилось теплым майским вечером. Инга и Ральф любили друг друга в траве. Иногда мимо проносился поезд, пыхтя, как работяга. Солнце уже садилось, когда Инга сказала Ральфу, что ждет ребенка. «Но я не хочу ребенка!» — закричал Ральф. Он вскочил, схватил домкрат или палку, топор или пилу, молоток или колун и ударил ее. Она хотела было убежать, но не успела. Когда она упала, он вернулся к Марни и заключил ее в объятия». Почему вы не пишете? Может, вам начало не нравится? Начнем по-другому: «Жила-была женщина, у нее было пятьдесят пять зверюшек. В один прекрасный день все зверюшки подошли, а муж исчез». Прежде чем сесть в тюрьму, Ральф подарил мне волнистого попугайчика. Жаль только, самочка. Самочки не разговаривают. Это альбинос, глаза у нее красные. А возраст определяют по цвету клюва. Я узнала,— говорит Марни,— Ральфа посадят на десять лет. Через десять лет мне исполнится двадцать два. Ведь правильно?

— Что ты здесь насочиняла, Марни? — спрашивает старшая.

Марни слышит в ее голосе испуг.

— Отец говорит, удачу надо ловить и держать крепко. А моя удача весила как минимум три фунта.

— Надо известить родителей девочки и старшего унтер-офицера Бетлера из уголовной полиции,— доносится до Марни голос младшей.

Марни видит, как старшая берет за телефон. В правой руке она держит трубку, а левой набирает номер. На безымянном пальце у нее обручальное кольцо.

— Он хотел, чтобы я молчала,— говорит Марни,— потому и подарил мне птичку.

— Как ты до этого додумалась? — спрашивает младшая. Она по-прежнему сидит за машинкой и не сводит глаз с Марни.— Бедняжка,— говорит она, и Марни слышит, как

ее каблучки постукивают по полу, а сразу после этого чувствует, что ее гладят по голове.

Вторая сотрудница разговаривает по телефону с матерью Марни. Говорит она тихо, как человек, несущий скорбную весть.

— Успокойся, Марни. Не волнуйся, деточка.

Марни задирает голову вверх:

— А чего мне волноваться-то?

Женщины смотрят на нее.

— Я принесу тебе поесть,— говорит младшая.

Марни качает головой:

— Я не хочу. Это мама у меня всегда голодная. Она волчица, знаете?

— Еще и это,— замечает старшая.

Молодая пытается улыбнуться. Марни видит это по судорожно скривившимся уголкам губ.

— А что ты думаешь о своем отце?

— Он состоит в стрелковом клубе,— отвечает Марни.— А ведь раз мать у меня волчица,— обращается она к обеим сотрудницам,— то я, значит, волчонок, верно?

— Тебе надо успокоиться, Марни.

Марни встает, закидывает руки за голову и потягивается, как утром после сна. А потом впервые за все время улыбается:

— Я думала, вы не догадаетесь.

— Не нужно бояться, Марни,— говорит сотрудница за столом.

— А мне нечего бояться,— возражает Марни,— я несовершеннолетняя, меня судить нельзя... Понимаете, Инга совсем не боялась. Это был молоток, я нашла его в подвале. Я только видела, как она закричала, потому что как раз в это время шел товарняк.

За стеклянным квадратом

Знаете ли вы, что такое фабрика Доллинга? Во-первых, это большое современное предприятие. Здесь работает Герта. пышная копна черных волос до самых плеч.

Крышку на коробку Герта обычно начинает надевать снизу, чтоб в последний момент успеть разглядеть еще голову куклы. С аккуратной челкой. Сегодня на потоке светлые волосы. Мгновение спустя Герте уже ничего не видно. Крышка надета на коробку.

В том же цехе работает Гертруда. Четверо женщин, одна бригада. Гертруда за третьим столом. Рыжие волосы, стрижка под мальчика. Крышку на коробку Гертруда обычно начинает надевать снизу, чтоб в последний момент успеть еще разглядеть морду медвежонка. И забавные уши. Мгновение спустя Гертруде уже ничего не видно. Крышка надета на коробку.

Левой рукой Гертруда хватает коробку. Пальцы у нее очень тонкие, да и вся она сплошь кожа да кости. Рядом с Гертрудой расплывшаяся женщина под пятьдесят; работая, она сгибается в три погибели, так что дыхание со свистом вырывается из легких. Это к ней обращается Гертруда:

— Послушай, Мюллерша! Ты еще ничего не рассказала нам о новом телевизоре!

Мюллерша в состоянии давать только односложные ответы. А лучше вообще не отвечать. Ей не хватает воздуха.

Соседка с другой стороны спрашивает Мюллершу:

— А он вообще-то показывает?

Мюллерша возмущенно фыркает. Жадно хватая воздух. Соседка берет у нее коробку. Левой рукой подтягивает к себе. Картон скребет по деревянному столу. В правой руке этикетка, смазанная клеем, ее нужно наклеить на коробку. Готово. Теперь разгладить ладонью. Коробка отправляется дальше.

Рабочий халатик Гертруды сплошь в разноцветных квадратах. Гертруде нравятся геометрические узоры. Халат без пояса болтается на ней. Ну и тощая же она. Однако несмотря на хрупкость, ей вовсе не трудно было застилать постели на шестом этаже отеля Хамбергеров.

Левой рукой Герта хватает коробку. Пальцы у нее короткие и пухлые. Соседка ее — долговязая женщина лет тридцати пяти, она все время щурится, как на солнце. Это к ней обращается Герта:

— Надо же, Хойзерша у нас сегодня не кашлянула ни разу.

Соседка в ответ только щурится. И тихо смеется. Она быстро и уверенно обвязывает коробку бечевкой. Соседка Хойзерши с другой стороны подхватывает:

— Ну, когда же мы кашлянем в первый раз? Валяй, не стесняйся, Хойзерша!

Хойзерша, сощуриив глаза, смеется. Соседка принимает от нее коробку. Тащит к себе. Картон скребет по дереву. В правой руке у нее этикетка, смазанная клеем. Она прихлопывает ее к коробке. Разглаживает ребром ладони. Отправляет коробку дальше.

На халатике Герты крупные желтые цветы. Для лета то, что надо. Пояс у нее туго перетянут, чтобы подчеркнуть талию.

Картон скребет по дереву. В самый последний момент Герта бросает взгляд на куклину челку. Сегодня на потоке светлые волосы. Крышку на коробку она специально начинает надевать снизу. Ноги у кукол всегда одинаковые: черные лаковые туфельки, белые носочки.

Новенькая рядом с Гертой, та, что слева, вовсе не такая уж старая, хотя бедра и грудь у нее бесформенные. Она все время молчит. Уложив куклу в коробку, оставляет на месте. Даже не старается пододвинуть к Герте.

Вот с Эльзой у Герты был полный порядок. Шло как по маслу. И рассказать ей всегда было чего. Каждый день новое. А новенькой, судя по всему, рассказывать нечего. Это ее первый день на работе.

Герте то и дело приходится делать шаг влево, чтобы подтащить к себе коробку. Это задерживает ее, сбивает темп. Десять пфеннигов получает бригада за упакованную коробку. Втроем они прекрасно сработались. Справа от Герты Хойзерша и дальше соседка Хойзерши. С новенькой тоже через неделю наладится.

Обидно все-таки, что Эльзу уволили.

Волосы у Герты перевязаны белой лентой, чтоб не спа-

дали на лоб, она всегда завязывает ее за две минуты до начала смены. На улице волосы свободно развеваются по ветру. При ходьбе они тяжело ударяют по затылку. Щеко-чут шею. Герте нравится это ощущение. Она носит высокие каблуки. И чем стремительнее летит она вперед на каблуках, тем сильнее развеваются по ветру волосы.

Надев на коробку крышку, Герта отправляет ее Хойзерше. Как только длинная рука Хойзерши ухватывает коробку, Герта коробку отпускает. И подхватывает левой рукой следующую. Но перед этим приходится сделать полшага влево. Новенькая все время молчит. Выполнив свою операцию, она оставляет коробку на месте. Картонная тара подается в цех транспортером. Подсобные работницы сгружают картонки на тележки. Подвозят к рабочим местам. Грузят на тележки готовые коробки, отвозят к транспортеру.

За десять минут бригада обрабатывает двадцать коробок. По две марки на бригаду из четырех женщин. Пятьдесят пфеннигов каждой. Новенькая работает медленнее всех. Лишь девятнадцать коробок за десять минут. А то и восемнадцать. Герта внимательно считает.

Гертруда, работающая за третьим столом, подтягивает левой рукой коробку к себе. Картон скребет по дереву. Правой она берет из стопки перед собой крышку. Надевает обеими руками. Последнее, что она видит, это лохматые уши. Крышку на коробку она сознательно начинает надевать снизу. Так легче. Надев крышку, Гертруда отправляет коробку дальше. Как только пухлая рука Мюллерши ухватывает коробку, Гертруда ее отпускает. Подхватывает левой рукой следующую. Бригада обрабатывает двадцать коробок за десять минут.

Соседка Мюллерши проверяет количество коробок и время. Сравнивает свои данные с записями подсобницы. Сообщает окончательный результат Мюллерше. Та передает его Гертруде, Гертруда — Штефи. В обеденный перерыв они обычно подсчитывают заработок. Старательно записывают цифры. У Штефи всегда найдется клочок бумаги. У Гертруды — шариковая ручка. Они записывают цифры, а Гертруда считает. Сравнивает время и количество коробок. Вот уже следующая коробка перед нею. Крышку на коробку она начинает надевать снизу. Серый плюш.

У медвежонка открытая улыбающаяся пасть. Завтра пойдут медвежата с закрытой пастью. А послезавтра — наоборот. Гертруда надевает на коробки крышку за крышкой. И отправляет дальше.

«Гертруда, — сказала госпожа Хамбергер, принимая от нее десять ключей после законченной уборки, — я глубоко сожалею, но мы не можем допустить подобные жалобы со стороны клиентов. Разок ошибиться — это еще куда ни шло, но пугать людей, моя дорогая Гертруда, пусть даже тех, что могут позволить себе лишь самый дешевый номер на чердачном этаже, — тут уж, моя дорогая Гертруда, извините... Попробуйте подыскать себе другое место». Две с половиной марки в час. Не считая, разумеется, вычетов.

Соседка Хойзерши сравнивает число обработанных коробок и время. Результат она сообщает Герте. В обеденный перерыв они обычно сопоставляют результаты. Записывают. Подсчитывают заработок на клочке бумаги. Герта приносит из автомата кока-колу. Хойзерша отвинчивает крышку термоса. Кофе ей обычно готовит муж. Перед уходом на работу. К конвейеру. Соседка Хойзерши пьет чай. Запивает им таблетку от давления. Чтоб не повышалось. Вообще-то чай ей тоже вреден. Соседки наблюдают, как она роется в сумочке, отыскивая лекарство. Она широко раскрывает рот, так что видно розовое небо. Немытой рукою — в складках кожи остатки засохшего клея и грязь — осторожно кладет таблетку на язык. Сжимает губы. Делает три судорожных глотка. Тянется к стакану с чаем. Выпивает его залпом.

— Это мне поможет, — говорит она. А потом: — Дай мне хотя бы глоточек, Хойзерша.

Хойзерша пододвигает ей пластмассовый стаканчик с кофе. Пластмасса легко скользит по синтетическому покрытию стола. Все это под непрерывный разговор.

— Держи, старуха, — говорит Хойзерша, — прополощи хотя бы горло.

— Отличный у тебя кофе.

— Мой Вилли готовил. Перед уходом к конвейеру.

— Вот это мужчина, — говорит Герта.

Она уже стянула повязку с волос. В перерыве она всегда распускает волосы. Столы в обеденном помещении сто-

ят очень плотно. Здесь кое-как устраиваются около ста пятидесяти человек.

Светлые рабочие цеха. Высокие достижения в социальной сфере. Два больших окна. Вешалка для верхней одежды. Два автомата с кока-колой. Раковина с колонкой для горячей воды. В дальнем углу помещения расположились мужчины. На переднем плане — женщины. Женщин больше, чем мужчин. Наша бригада всегда сидит посередке. Стол вплотную примыкает к «мужскому» столу. Герте это нравится. Она стягивает повязку с волос. Взбивает пятерней пышные черные космы. Аккуратно поправляет пряди, обрамляющие лицо. Герта сидит спиной к мужчинам. С соседнего столика видны лишь ее роскошные волосы. На мгновение Герта снова протягивает руку к волосам. Рукав халатика соскальзывает вниз. Голову она слегка откидывает назад. Потом снова кладет руку на стол. Начинает чистить апельсин, подцепляет ногтями кожуру и аккуратно отдирает по частям. Затем методично счищает тонкую белую кожицу, разделяет апельсин на дольки и кончиками пальцев кладет дольку за долькой на язык. Стиснув губы, жует так, что подбородок ходит ходуном.

— Вот это мужчина,— говорит она.

— Да, такого поискать надо,— отвечает Хойзерша.

— Ну и влипнешь, коли начнешь искать,— замечает соседка Хойзерши.— Цельный день вкалывают они у конвейера, вечером сжирают в один присест весь холодильник, потом сидят, уставившись в телевизор, пока не приходит время спать. Или я не права, Хойзерша?

— Ну не так уж все плохо, старуха,— отвечает та.— Выпей еще глоток кофейку моего Вилли. Кофе, на это он мастер.

— А пока они еще в силе и не засыпают сразу, как убитые, они делают тебе после телепрограммы пару детишек, чтоб ты потом голову ломала всю жизнь, как свести концы с концами. Или я не права, а, Хойзерша?

Та прищуривает глаза.

— Вот мой Вилли...— начинает она.

— Помолчи лучше,— перебивает Герта, дожевывая последнюю дольку апельсина.— Тебе ведь первого ребеночка сделали в семнадцать лет. А сейчас ты вот-вот станешь

бабушкой.

Герта смеется. Смеется и соседка Хойзерши. Хойзерша щурится.

— А ты попробуй-ка найди такого,— парирует она,— чтоб тебе еще и кофе отличный сварил, прежде чем отправиться к конвейеру, попробуй-ка найди.

Хойзерша немилосердно щурит глаза и выдвигает вперед круглый подбородок. Остатки кофе она вытряхивает из термоса в пластмассовый стаканчик некогда белого цвета. Но теперь изрядно почерневший.

— К тому же,— добавляет соседка Хойзерши,— на четверых детей все равно не хватает того, что он зарабатывает у конвейера. Как ни крути, а концы с концами не сходятся. И тут приходим на помощь мы. Или я не права, Хойзерша?

Та молчит. Из разноцветной бумажной салфетки она как раз извлекает бутерброд. Кусок ветчины между ломтями серого хлеба. И начинает усиленно жевать.

Новенькая сидит в самом конце стола. Оттуда хорошо видно, что происходит у мужчин. Но новенькая туда не смотрит, она спит. Положив голову на руки. Волосы слиплись и прядями спадают на лицо. Вся голова в слипшихся потных прядях. Грудь слегка вздымается при вдохе. Голова маленькая, зато тело крупное, массивное. Мужчины на нее не смотрят. Рядом скомканная бумага, в которую был завернут ее завтрак. В бумаге шкурка от банана. Вся в темных пятнах.

— Подъем! — командует Герта.

Вместе со стулом она отодвигается от стола. Встает. Туго затягивает пояс на талии. Обеими руками поправляет волосы. Кончиками пальцев аккуратно проверяет пробор, повязывает ленту, туго стягивая ее на затылке. Убранные назад волосы рассыпаются по плечам. Потом небрежно засовывает руки в карманы халатика, пришитые спереди на животе, прямо между двумя огромными желтыми цветами. Только теперь Герта позволяет себе бросить взгляд на «мужской» стол. Но ни один из сидящих не глядит в ее сторону.

Хойзерша сидела, вытянув под столом свои длинные ноги. Теперь она опирается одной рукой о столешницу, встает. Она крупного сложения. Крепкие бедра, широкая груд-

ная клетка. А бюст маленький. Когда на нее смотрят, Хойзерша всегда щурится. И начинает поправлять уложенные «химией» волосы.

Хойзерша склоняется к новенькой. Теревит за плечо. Легонько трясет. Та мгновенно просыпается. Только что спала, и вот уже на ногах. Ни слова не говоря. Лицо у нее узкое, вытянутое. Нос, рот, брови словно налезают друг на друга. Сна уже ни в одном глазу. Она взбодрилась. К двери против автоматов с кока-колой она направляется тем же шагом, каким шла и в начале перерыва. Переходный период ей не нужен. И точно теми же движениями, что и прежде, она начинает укладывать кукол в коробки.

Соседка Хойзерши наклеивает этикетки и проверяет, хорошо ли завязана бечевка. У нее тучное, расплывшееся тело. Ноги тоже ее не молодят. Их и двумя ладонями не обхватить. Эта женщина самая старая в бригаде. На ней темно-синий халат с мелким неброским узором. Соответственно возрасту.

Вас ждет прекрасное рабочее место...

Мюллерша, та, что за третьим столом, тяжело пыхтит. Никак не может отдышаться. Одной рукой она вытягивает бечевку, другой обматывает ею коробку со всех сторон. Продергивает конец в петельку. Туго затягивает.

— Доработаюсь я когда-нибудь здесь до ручки,— замечает Мюллерша, снова продергивая бечевку в петлю. Потом туго затягивает. Отправляет коробку дальше. Тянется за следующей.

— Ну и как все-таки твое приобретение? — спрашивает Гертруда.

— На закате дней я бы тоже хотела вот так пожить, с телевизором и вообще,— замечает Штефи.

Она иммигрантка. Вся какая-то грубоватая, тяжело-весная. До сих пор не приспособилась.

— Я тоже куплю себе телевизор,— говорит Гертруда.— В конце лета.

— Только не воображайте, будто там у нас вообще не знают, что это такое,— бросает Штефи.

Она контролирует каждое свое движение. Все движения у нее точны.

— Да оставьте вы наконец Мюллершу в покое,— встре-

вает ее соседка.— Пусть радуется уже тому, что вообще выдерживает наш темп.

Двое других украдкой хихикают. Просто так, в пространство. Соседка Мюллерши берет из банки с клеем кисточку. Наносит клей на обратную сторону этикетки. Аккуратно держит пальцами за края. Прикладывает к коробке. Разглаживает. Ни секунды без движения.

...которое вы сможете оборудовать по собственному вкусу.

Герта считает. Соотносит время с количеством упакованных коробок. Делает полшага влево. Подтягивает коробку к себе. Новенькая к ней коробку не пододвигает. Крышку на коробку Герта начинает надевать снизу. Над лаковыми туфельками с белыми носочками блестят пластмассовые коленки. Уж очень блестят. Выше начинается платице. Уж очень красное. Герта хватается крышку за крышкой. Плотно надевает на коробки. Посылает коробки дальше. Хойзерша закашлялась. Рот рукой она при этом не прикрывает. Руки у нее заняты. Одной рукой она вытягивает бечевку, другой обматывает ею коробку со всех сторон. Продергивает конец в петельку, туго затягивает.

— Эта пылища меня угробит,— говорит она, снова продевает конец в петельку, туго затягивает, посылает коробку дальше. Тянется за следующей.

— Работа легкая и неустойчивая,— говорит Герта,— чего тебе еще нужно? — Свободной рукой она поправляет на кукле задравшуюся красную юбку.— Неужели сегодня вообще никто не придет нас проверять?

— А у моего Вилли они снова подняли нормы,— сообщает Хойзерша.

— Неужели все-таки Мунк заменит Денчи? — вопрошает Герта, делая полшага влево.— Вот это настоящий мужчина,— говорит она, ухватывая новую коробку.

— Пока ты не влипла по-настоящему, девушка,— замечает соседка Хойзерши, нашлапывая этикетку,— имей в виду, он тебя недрогнувшей рукой вышвырнет. Я бы на твоём месте радовалась, что вообще пока здесь, с твоей-то репутацией. Лучше не задевай его, да еще с ходу. Я знаю, что говорю, можешь мне поверить.

— К тому же,— замечает Хойзерша,— для контроля еще слишком рано. Вечно взбаламутишь всех.

Она берет у Герты закрытую крышкой коробку. Та оставила ее стоять на месте.

Новенькая все время молчит. Сосредоточенно следит за движениями своих рук. Движения у нее точные.

— Вот это мужчина, — говорит Герта. — Не то что мужлан с тяжелыми лапищами, всю жизнь стоящий у конвейера. Мужчина с холеными руками. Настоящий мужчина.

Ни секунды без движения. Гертруда надевает на коробки крышку за крышкой. Две крышки в минуту. Коробка каждые тридцать секунд. Крышку она берет из стопки, аккуратно надевает на коробку, прижимает. Те двое стояли возле стойки портье. Мужчина и женщина, и лица их почти соприкасались. Потом мужчина сказал: «На раковине у вас грязь слоями. И окна настезь. При такой-то погоде». И тут подошла Хамбергерша.

Гертруда поднимается в лифте наверх, чистое белье сложено стопками у нее на руках. Десять номеров. Шесть двухспальных, четыре — на одного.

На лифте нужно подняться почти под самую крышу. Пятый этаж, шестой. Стоп. Дверь лифта шуршит по грубой красной циновке. Девяносто восьмой номер свободен. Гертруда принесла из девяносто восьмого стул. Подперла им дверь лифта, чтобы та не захлопнулась. Сложила на стул белье. Пятнадцать простынь, пятнадцать пододеяльников, пятнадцать наволочек. Десять ключей в кармане халатика. Жилец из сто второго пока у себя. Зато в остальных можно прибраться. Гертруда отпустила дверь лифта. Отнесла стул в девяносто восьмой. В коридоре застоявшийся с ночи воздух. Запах человеческих тел, потеющих в теплой постели. Кто-то позабыл закрыть дверь в туалет в самом конце коридора. Оттуда неприятно пахнет. Девяносто восьмой номер свободен. Из-за двери сто второго слышен шум льющейся из крана воды. Кто-то шумно полощет горло. Жилец из девяносто восьмого оставил окно настезь. Комната хорошо проветрилась, воздух здесь свежий, не то что в коридоре. Гертруда высунулась из окна. Вытянутой рукой она почти достает до водосточного желоба. Справа и слева от окна черепичная кровля. Пять двадцать стоит такой двухспальный номер, без завтрака. Плюс десять процентов за обслуживание. Заказать завтрак в номер стоит одну марку. А сам завтрак — две марки тридцать. Не очень-то

комфортабельно живут постояльцы на чердачном этаже.

Мюллерша не в состоянии много двигаться, ей то и дело не хватает воздуха. Поэтому Гертруда пододвигает ей коробки почти под самый нос. Лучше бы Мюллерше надевать крышки, а не перевязывать коробки.

— Да, пришлось повкалывать, пока я наскребла на телевизор,— замечает Мюллерша.

— А кто тут не вкалывает? — огрызается ее соседка.

— Вам бы на уборке урожая повкалывать, вилами и вообще. Вот где настоящая работа,— бросает Штефи.

— Ну, если за это хорошо заплатят,— подводит итог дискуссии Гертруда.

— Вы только представьте себе, каждые десять минут Вилли должен теперь делать на две операции больше,— говорит Хойзерша.— И все потому, что эти идиоты пустили конвейер быстрее. Кретины.

— Опять только восемнадцать с половиной,— замечает соседка Мюллерши.— Вы бы прекратили болтовню. А то сегодня ничего не заработаем.

Герта смеется.

— К тому же,— продолжает она свои рассуждения,— такой роскошный мужчина и зарабатывает много больше, чем тот, что стоит у конвейера. С этим вы не можете не согласиться. И мне бы не пришлось больше надевать эти чертовы крышки. Никогда.

Чтобы бросить взгляд на часы, Герте надо повернуться вправо. Часы висят над дверью. В двери квадратное стеклянное окошко. Не с матовым стеклом, а с обычным. Так снаружи всегда можно контролировать, что происходит в цехе. А из цеха видно, кто проходит мимо.

Вас ожидает большой, хорошо сработавшийся коллектив.

Упаковочный цех номер два по размеру меньше даже, чем столовая. Длинные деревянные столы стоят здесь в ряд, друг за другом. За каждым четыре женщины. Одна укладывает куклу в коробку, другая надевает на коробку крышку, следующая перевязывает коробку бечевкой, последняя нашлепывает этикетку, проверяет, хорошо ли коробка перевязана, считает общее количество. Тележки с материалом снуют вдоль столов, забирают упакованные коробки. Ни секунды без движения.

— Деятнадцать — это мало,— замечает соседка Хой-

зерши. Берет из банки с клеем кисточку. Проводит ею по обратной стороне этикетки. Снова сует кисточку в банку. Аккуратно берет за края этикетку. Пришлепывает к коробке, разглаживает.

Хотите попытать у нас счастья?

Дома вокруг отеля почти все невысокие. Так что с верхнего этажа Гертруде хорошо виден город. И даже виноградники в окрестностях. До лета ждать уже совсем недолго. Рабочий день начинается в восемь. Две с половиной марки в час.

Взгляд Гертруды прикован к собственным рукам. Они работают проворно. Снуют, снуют. Лево́й придвинуть коробку к себе, право́й тут же схватить крышку, надеть сначала на нижнюю часть коробки, прикрыв лапы из серого плюша и только потом уже забавные мохнатые уши, отправить коробку дальше, соседке справа. Толстушка Штеffi ловко орудует своими пухлыми ручками. А Мюллерше надевать крышки было бы легче. Однако она не желает отказаться от привычного рабочего места. Ведь именно на нем она проработала больше двадцати лет. Но чтобы перевязывать коробки, требуется гораздо больше движений и, значит, больше воздуха, это совсем не то что надевать крышки.

«Мне немедленно нужна управляющая, слышите, мне нужна хозяйка». Серые с лиловым отливом завитки аккуратно распределены по всей голове. Пожилая дама — очень трепетное создание — буквально подскакивает от возбуждения перед стойкой портье. «У меня под столом пыль. Чудовищно. В моей комнате эта мерзкая пыль. Под столом горы пыли».

На чердачном этаже номера самые дешевые. У дамы с лиловыми локонами из сто второго номера потрясающее мыло. Круглое, розовое и пахнет удивительно. Гертруда просто не в состоянии оторваться, она стоит и вдыхает нежный запах. Подносит кусок вплотную к лицу. Намылывает руки. Несколько раз подряд. Потом долго их нюхает. Две с половиной марки в час.

Если бы Мюллерша была посноровистее, они могли бы зарабатывать в час и три с половиной. На пятьдесят пфеннигов больше, чем обычно. При сорокачасовой рабочей неделе получилось бы двадцать лишних марок. Восемьдесят

марок в месяц. А телевизор стоит пятьсот двадцать. Шесть с половиной месяцев пришлось бы зарабатывать эти лишние восемьдесят марок. Три с половиной марки в час. А ведь это вполне реально. Если бы не Мюллерша.

В сто четвертом мусорная корзинка была набита доверху. Косточки от отбивных, банановая кожура, черствый хлеб. До одной из постелей не дотрагивались. Зато на второй разорвана простыня.

С двенадцати пятнадцати до часу второй перерыв. Стрелки часов застыли на половине одиннадцатого.

— Вот это мужчина,— продолжает свою песенку Герта. Ей то и дело приходится вместо соседки расправлять на кукле платье, выпрямлять ноги, потом уже надевать крышку.— Думаю, что и насчет детишек он не так уж скор, как ты считаешь, Хойзерша? Ну кашляни хотя бы в знак согласия!

Хойзерша щурится, потом заводит старую песенку про своего Вилли.

— Вечно у нее одни мужики на уме,— замечает соседка Хойзерши.

Ей тяжело передвигаться на отекающих ногах, поэтому Хойзерша толкает ей коробки почти через весь стол.

— Но если они назначили Мунка, он должен быть уже здесь,— произносит Хойзерша.

Новенькая не говорит ни слова. Можно подумать, что у нее вообще нет мужа. Но муж у нее есть.

Итак, дерзайте.

— Послушай, Мюллерша,— говорит Гертруда соседке, быстро надевая крышку и отправляя коробку дальше.— Послушай меня. Сейчас придет Мунк. Может, нам лучше поменяться местами?

Левой рукой она подтягивает к себе коробку, правой хватает крышку.

— Ни в коем разе! — отрезает Мюллерша.— Я двадцать лет перевязываю коробки. И именно это буду делать впредь.

— А ведь в самом деле,— обращается Гертруда к Штеffi,— Мюллерше на моем месте было бы легче.

Хотя сложение у Гертруды хрупкое, кожа да кости, ей не составляло никакого труда перестилать в номерах постели.

— Разве мы не выдаем нужного количества? — спрашивает Мюллерша.

— Двадцать за десять минут, — отвечает ее соседка.

— Ну и чего вам еще? — Мюллершу буквально раздувает от возмущения.

— А ведь тебе и в самом деле лучше побережись. В другом цехе могла бы работать или еще где, — замечает ее соседка.

Одной рукой она берет кисточку из банки с клеем, другой поправляет очки в непонятного цвета оправе, берет этикетку, густо смазывает клеем.

— Само собой, — поддерживает ее Гертруда, и голос у нее звучит как-то слишком пронзительно. — Само собой, можно, к примеру, глаза вставлять мишкам.

— Или, — добавляет Штефи, — приделывать колеса к пластмассовым автомобильчикам.

Соседка Мюллерши проводит измазанной в клее рукой по выцветшим волосам. Она ровно вполовину меньше Мюллерши, чья грудь сейчас ходит ходуном. Воздух с хрипом вырывается у нее из легких.

— Стара я уже место менять. Я научилась перевязывать коробки, а глаза пришивать не умею. У меня каждый узел на месте, и, чтоб вы знали, лучше я умру здесь, но никуда со своего места не уйду!

Гертруда обращает все в шутку:

— Ну так уж сразу ты здесь не помрешь, еще помучаешься!

Но пятьдесят лишних пфеннигов в час было бы все же неплохо. На пять коробок в час больше. А телевизор стоит пятьсот двадцать.

— Вы уже совсем рехнулись, — говорит Мюллерша. — Двадцать коробок — норма. Двадцать делают все бригады.

От нее сильно пахнет потом. Она явно взволнована. На коже блестят капельки.

— А кто станет делать больше — заедит бригаду, — подводит итог Мюллерша, выдвинув жирный подбородок и приподняв брови. В морщинах на лбу собираются струйки пота.

У нас вы включитесь в общий трудовой процесс.

Между столами начал прогуливаться Денчи. Почти вплотную к стоящим женщинам. Он всегда начинал с кон-

ца, с двенадцатого стола. Восемьдесят четыре минуты понадобится ему, чтоб добраться до первого стола, за которым работает бригада Герты. За это время они обработают шестьдесят восемь коробок. словно никакого Денчи и в помине нет. Когда он приближается к третьему столу, Герта начинает обычную свою игру. Хойзерша толкает локтем соседку. Если сильно скосить глаза, видно, что происходит рядом. Но темпа они не сбавляют. Двадцать коробок за десять минут. Герта облизывает губы. Туже затягивает пояс. Ставит ноги вместе. Быстро взбивает волосы, на секунду отложив крышку. Послюнив указательный палец, подравнивает брови. И вот уже Денчи за ее спиной. Проверяет темп, двигается дальше.

— Вот это мужчина,— произносит Герта через какое-то время. А тот уже исчез за стеклянным квадратом.

Мы самое крупное среди предприятий, производящих игрушки.

Соседки Герты больше не косятся в ее сторону, теперь они сосредоточились на собственных руках. Герта использовала для себя несколько секунд рабочего времени всех четверых. И вот уже коробки громоздятся перед нею. Крышки выскользывают из рук. Приходится надевать по второму разу.

— Давай пошевеливайся,— говорит ей соседка Хойзерши.— Его уже и след простыл, а ты все мечтаешь.

Руки у Герты снуют проворно. Быстрее, быстрее. левой — коробку, правой — крышку, начинаешь надевать снизу, сначала на блестящие пластмассовые коленки, потом на широко раскрытые глуповатые глаза, коробку в сторону — и за следующую.

Герта выравнивает темп.

Гертруда поправляет плюшевого медвежонка, чтобы тот лежал в коробке прямо. Плюш теплый на ощупь. А вот фарфоровые раковины были холодные. Как много они уже послужили. Гертруда насыпала на фарфор порошок. Смачивала губку водой. Терла изо всех сил. На белом фарфоре появлялись грязные полосы. Холмики грязи, островки грязи, сплошная грязь. Грязные полосы сливались. Грязь комками липла к фарфору, оставалась на тряпке. Гертруда открыла кран. Горячая вода. смыла грязь. Сильная струя воды унесла грязь в водосток.

Стоило Денчи удалиться за стеклянный квадрат, раздались смешки. *А еще мы приглашаем на работу начальника склада в возрасте от 25 до 40...* Стремительно побежали от стола к столу. Начались разговоры. Потом смешки смолкли. Сорок восемь упаковщиц продолжили свою работу. Они укладывают кукол в коробки. Закрывают коробки крышками. Перевязывают бечевкой. Наклеивают этикетки. Подсобницы держатся особняком, вместе со всеми они не хихикают. Полные тележки они отвозят к тому транспортеру, что находится за двенадцатым столом. Перекладывают коробки на бегущую ленту. Обмениваются отрывистыми фразами или вообще не говорят ничего. А вот Эльза всегда заговаривала с Денчи. Тогда он задерживался возле их стола.

Летом она казалась даже выше, чем он. Потому что носила босоножки на пробковой подошве. Да еще копна светлых волос. Платья у нее летом всегда с вырезом. В вырезе видна белая кожа. Особенно белая весной. Денчи всегда останавливался возле Эльзы. Он подходил к ней сзади, с левой стороны. *...который продемонстрирует способность усовершенствовать и без того прекрасно отлаженный рабочий процесс.* Язык у Эльзы хорошо был подвешен. За словом она в карман не лезла. Денчи очень близко придвигался к ней. Он был тоньше, чем она. За задними столами раздавались смешки. Эльза брала куклу в руки. Когда она укладывала ее в коробку, юбка словно нечаянно расстегивалась. Эльза отправляла коробку Герте, та приводила юбку в порядок. Денчи всякий раз подолгу наблюдал за этой игрой. Как-то Эльза сказала: «Вот бы нашей сестре такие гладкие коленки». Денчи выглядел всегда удивительно аккуратно. «Даже когда мы были детьми, у нас не было такой кожи. Надо же какая гладкая», — продолжала Эльза.

Проверяя работу упаковщиц, Денчи обычно молчал. Вообще-то ему больше по душе женщины хрупкие, нежные. Эльзу к таковым уж точно не отнесешь. Зато язык у нее подвешен, ничего не скажешь. Денчи придвигался все ближе. Ждал, когда она снова начнет про круглые коленки и гладкую кожу.

Герта всегда прыскала, когда у Эльзиных кукол начинали вдруг расстегиваться юбки. Не отвлекаясь, конечно, от

работы. Это все шло так, между делом. У Денчи даже глаза сходились на переносице от возбуждения. Время от времени Эльза демонстрировала свое округлое колено. Не отвлекаясь, конечно, от работы. Как-то раз он попробовал подкараулить ее после смены. Но она взяла под руку Герту. А ему предложила сопровождать их обеих. Плотная коренастая Эльза между нежной темноволосой Гертой и обольстительным Денчи.

А потом Эльза вместе с Гертой заключили пари против остальных сорока шести упаковщиц. Они утверждали, что этот самый Денчи...

Для реализации этих, в нынешней ситуации весьма непростых, задач мы предпочли бы пригласить мужчину.

— Двадцать штук,— объявляет Хойзерша.— Если, конечно, старуха не пустит нас в конце по миру.

— С чего это именно мне пускать вас по миру? — огрызается та.— Первый раз сегодня уложились в норму.

Новенькая не произносит ни слова. Хойзерша бросает взгляд на часы. Как-то странно движутся сегодня стрелки. Можно подумать, время остановилось.

Левой рукой Гертруда подтягивает к себе коробку, правой хватает крышку, надевает крышку на коробку, посылает дальше, левой подтягивает коробку, надевает крышку, дальше.

Их подсобка находилась на третьем этаже. Крошечная каморка рядом с лифтом. Выключатель справа от двери. Сорокаваттная лампочка без плафона. Справа пять веников. Слева пять половых щеток. У противоположной стенки пять метелочек, которыми смахивают пыль. Из-за стенки слева слышно, как поднимается вверх лифт. У каждого этажа щелчок. С первого этажа донесся звук захлопнувшейся двери. Второй этаж, щелчок. Шорох скользящей вверх кабины. Чем ближе к каморке, тем слышнее. Гертруда прислоняется к узкой побеленной стенке между лифтом и дверью каморки. Снизу приближается лифт. Потолок кабины отделяет темную шахту от освещенного внутреннего пространства. Из ее укрытия Гертруде хорошо виден проезжающий лифт: в кабине светло, стенки отделаны голубым пластиком, вот показалась мужская шляпа, через мгновение изящная женская. Лица соприкасаются почти вплотную. Две пары голубых глаз устремлены друг на дру-

га. И тут за дверью лифта — лицо Гертруды в обрамлении рыжих волос, бесцветные, водянистые глаза. На мгновение три пары глаз встречаются. Лифт тяжело проскальзывает мимо двери каморки. Два светлых плаща. Брюки. Женские ноги в чулках. Легкие ботинки на тонкой подошве. Туфельки на высоких каблуках. И белая сумочка. Третий этаж, щелчок. Низ кабины сливается с темнотой шахты. Шорох скользящего лифта все слабее. Четвертый этаж, щелчок. Пятый этаж. Шестой этаж, стоп. Со скрипом распахивается дверь. Шуршит по грубой красной циновке. Мужской и женский голоса. Дверь лифта захлопывается. Гертруда берет у левой стенки половую щетку. Она тяжело оттягивает руку. Теперь нажать кнопку. Лифт пришел в движение. Шорох скользящей кабины все громче. Вот и третий этаж, дверь в подсобку.

Голоса упаковщиц пробуждают Гертруду от воспоминаний.

— Сколько коробок мы сделали уже за сегодня? — спрашивает Герта.

— Сто восемьдесят точно, — отвечает соседка Хойзерши. В складках кожи у нее на руках засох клей.

За каждую коробку десять пфеннигов, это восемнадцать марок на бригаду. Нужно разделить на четыре, получится по четыре пятьдесят на каждую. Это за час сорок минут.

— Все зависит от нашей сработанности, — замечает Герта. — Как-то я работала с тремя свихнувшимися. Вот это, скажу я вам, была гонка, им непременно нужно было заработать по три с полтиной в час. Это было безумие.

Хойзерша кашляет:

— Пылица эта меня доконает.

— Но если бригада не сработалась, это, скажу я вам, сущий ад, — продолжает Герта.

— Мунк сейчас должен появиться, — замечает соседка Хойзерши.

Хойзерша хихикает. И тут же заходится в кашле.

Они заключили пари. Эльза и Герта против сорока шести остальных упаковщиц. Эльза по этому поводу засучила рукава. Денчи теперь задерживался возле нее все дольше. И придвигался все ближе. Ведь у Эльзы всегда было что рассказать. Вообще-то Денчи больше нравятся хрупкие создания. Но округлые колени Эльзы, плотное, упругое ее

тело и гладкая кожа отчасти изменили его вкус.

Сорок шесть женщин замолкли на полуслове. В стеклянном квадрате появился Денчи. С неровной, какой-то восьмиугольной головой, с плоским лицом, на котором почти не выдавался нос, с покатым лбом и с безупречным пробором. Волосы у него причесаны тоже безупречно. Вот безупречный Денчи закрывает за собой дверь. Безупречной походкой проходит вдоль рядов пакующих женщин. Молча замеряет темп их работы.

Сорок шесть пар глаз искоса уставились на него. Ни одного смешка. Эльза спокойно укладывает кукол в коробки. Параллельно ее столу бежит лента транспортера. Из соседнего цеха в следующий. Денчи остановился позади Эльзы. Сделал еще один шаг влево, поближе к ней. Волосы она в тот день подколола высоко. Выше, чем обычно. А на шее такая белая кожа. Но на этот раз Эльза не собирается демонстрировать округлые колени и гладкую кожу, не поправляет куклам юбки. Первой замечает это Герта. Потом и остальные.

...который наряду с основательными познаниями обладал бы еще терпением и душевным тактом...

Итак, Денчи окончательно клюнул на круглые колени и гладкую кожу, это заметила Герта, заметили и остальные. Денчи не может уже оторвать взгляда от белой кожи Эльзы. Он оценил преимущество крепких упругих рук и ног. Времени около одиннадцати. В одиннадцать ноль две Эльза произнесла: «С ума можно сойти от этого транспортера, все бежит и бежит». Правой рукой она отправила коробку Герте, левой ухватила следующую. «Наверное, если улечься на ленту, можно прокатиться по всем цехам, так ведь?»

В тот день волосы у кукол были темные. Осоловелые карие глаза. А платья у них всегда красные. «У тебя такие круглые коленки», — сказал Денчи. Это слышали все женщины, вплоть до двенадцатого стола. И тут сорок шесть упаковщиц подняли бунт. Началось со смешков. Со смешков, что покатались от стола к столу. Все остановили работу. Никто уже не надевал на коробки крышек, не перевязывал их, не клеил этикеток. Короткие смешки переросли в громкий смех. В смех во весь голос, пронзительный смех. Этот смех отшвырнул женщин от рабочих столов. В руках остались картонки, крышки, бечевки, кисточки. Вот они

надвигаются сомкнутыми рядами. Готовы вцепиться Денчи в волосы. Крепко держатся за руки. И подсобницы вместе со всеми.

... чувством порядка и собранностью в работе.

Денчи вздымает руки, словно заклиная толпу. Кулаки у него крепко сжаты. Потом разводит руки в стороны, словно крылья. Отступает назад. Шаг за шагом. Вытягивает руки вперед, словно защищаясь. Мускулы у него напрягаются. Ладони подняты вверх, он словно отталкивает ими толпу. Шумно выдыхает воздух. И продолжает отступать. Шаг за шагом. К ленте транспортера он ближе, чем Эльза. Тут на Герту и Эльзу накатывает толпа. Сорок шесть очумевших женщин — вообще-то Денчи больше по душе хрупкие, нежные создания, — сорок шесть плотных, широкобедрых, большегрудых женщин накатывают волной и на него. А лента транспортера так близко. Сорок шесть женщин швыряют на нее коробки, крышки и кисточки. И Денчи в придачу. И он отправляется в соседний цех. А затем уже рассылочный пункт, цех погрузки, второй рассылочный пункт, девятая товарная платформа, вагоны из Гамбурга. С рыбой.

Новенькая открыла рот.

— Когда обеденный перерыв? — спросила она. Голос у нее сдавленный, словно из-под подушки.

— В четверть первого, — отрывисто бросила Герта. И обратилась к Хойзерше: — Вот когда Эльза рассказывала что-нибудь, время летело быстро. Так ведь, Хойзерша?

— Еще бы, муж у нее не вкалывал каждый день у конвейера. Конечно, он больше знал всего.

— Должно быть, стоящий парень, — вступает соседка Хойзерши, — можете уж мне поверить. Парикмахер, да еще дамский, чего только, бывало, от Эльзы не услышишь.

Слишком быстро проводит она кисточкой по этикетке, и на темно-синем халатике остаются пятна клея.

— А сколько продолжается перерыв? — спрашивает новенькая. Она так и не стала передвигать коробки ближе к Герте.

— Сорок пять минут, — отвечает Герта.

— Что ни говори, — замечает Хойзерша, — а с Эльзой было отлично.

— Главное — это чтобы бригада сработалась, — говорит

Герта,— вот с Эльзой все шло как по маслу.

И не в последнюю очередь...

Денчи стоял рядом с Эльзой. Почти вплотную. Ближе к ней, чем к ленте транспортера. Эльза сказала: «Отличная вещь, эта бегущая лента. С удовольствием прокатилась бы на ней как-нибудь. Вот здорово было бы».

В тот день у кукол были темные волосы и карие глаза. А платья у них всегда красные.

...способностью руководить женским коллективом.

А Денчи сказал: «У тебя такие круглые коленки».

Эльза расхохоталась. Сзади раздались смешки. Переросли в хохот. Громкий, пронзительный. Раскрасневшиеся упаковщицы хохотали все до единой. И тут масса женщин в рабочих халатах двинулась вперед. Широкобедрые, большегрудые, они оторвались от своих столов. Вот-вот с шумом лопнут халаты, словно воздушные шарик. Стекланный квадрат заслонили спины подсобниц. И Эльза уже не на своем месте. Она в эпицентре смеха и громко смеется сама. А лента транспортера так близко.

В соседнем цехе сидят в ряд мужчины. Там вставляют глаза кукам со светлыми волосами. Осоловелые, глупые глаза. Там полный порядок.

Денчи начинает отступать назад. Отступать он может только в одном направлении. А лента бежит мимо. Он хватается двумя руками за ограждение. Перепрыгивает через него. А потом рассылочный пункт. Цех погрузки. Второй рассылочный пункт. Грузовая платформа номер два. Вагоны из Альгойских Альп. С сыром.

— С Эльзой,— произносит Герта,— с Эльзой всегда было интересно.

От воспоминаний Герта смеется. Громко фыркает от смеха. Но слишком громко смеяться нельзя. Герте приходится всей сжаться, чтобы подавить смех. «С ума можно сойти от этого транспортера,— сказала тогда Эльза,— он все бежит и бежит». Правой рукой она отправляет коробку Герте, левой хватается следующую. Каждые тридцать секунд коробка. «А вообще-то,— говорила еще Эльза,— здесь жутко скучно. Даже приличного праздника для рабочих не устроили, а ведь сейчас как раз идет карнавал».

Правая нога Денчи почти вплотную прижата к левой ноге Эльзы. Денчи еще подается вправо. И вот уже он

чувствует теплую Эльзину кожу. *Мы придаем данному участку большое значение.*

«Никто из вас не решится,— сказала однажды Эльза,— устроить здесь что-нибудь веселое. Взять да прокатиться на транспортере в свое удовольствие».

Платья на куклах всегда только красные.

И тут Денчи сказал: «Какие у тебя круглые коленки». Эльза скосила в его сторону глаза. Оглядела Денчи с ног до головы. И сказала: «Такую гладкую кожу наша сестра позволить себе не может, так ведь?» Сзади раздались смешки. Покатились по всему цеху. Словно лопнул воздушный шарик со смехом. Эльза говорила: «Даже на карнавал для рабочих они не расщедрились. Никто из вас не решится. Я одна». Она направилась к транспортеру. И поскольку теперь она была к транспортеру ближе, чем к Денчи, тот последовал за ней. Обе руки положила она на ограждение. Он попытался обнять ее за талию. Ощутил ее тело под халатиком с крупными желтыми цветами — для лета то, что надо. Он тоже положил руки на ограждение, перешагнул через него. Встал рядом с Эльзой. И тут грянул смех. Громкий, пронзительный смех очумевших от работы женщин.

Вообще-то Денчи больше по душе хрупкие, нежные создания. Но теперь он оценил преимущества плотного, упругого тела.

Мы в свою очередь готовы поощрять материально все ваши достижения.

Смена во втором упаковочном цехе так и не доработала до конца рабочего дня. У сорока восьми упаковщиц дневной заработок оказался вполовину меньше.

— Неужели они так и не назначили Мунка? — спрашивает Хойзерша. Прошло уже пять минут после срока обычного появления начальства.

— Неужели еще целый час до обеда? — спрашивает новенькая.

Когда она говорит, руки ее снуют медленнее. Если она разговорится, выработка в смену неизбежно упадет.

— Нет,— отвечает Герта,— обед в двенадцать пятнадцать, а сейчас одиннадцать без десяти.

У Герты рабочий халат с яркими желтыми цветами — для лета то, что надо. Герта купила его после того, как

Мунк в первый раз явился их проверять. Вырез у халата глубокий. Пояс туго перетягивает талию.

— Настоящий мужчина, этот Мунк.

Герта произносит это серьезно. Но Хойзерша громко фыркает. Подталкивает локтем соседку. Герта бросает на них укоризненный взгляд. Но тем все равно.

Сорок шесть помножить на пять марок — вот сколько получили Герта и Эльза за выигранное пари. Если б эксперимент не удался, обеим пришлось бы поступиться недельным заработком.

Мунк появляется в стеклянном квадрате стремительно и неожиданно. Шаги у него быстрые, но короткие. Проверку он начинает с первых рядов. С тех, что возле транспортера. Столы он обходит спереди. Смотрит упаковщицам только на руки. Проверяет темп, сработанность бригад, подвижность и сноровку каждой. Мунк бесконечно может рассуждать об этих вещах. За стеклами очков нервно подрагивают ресницы.

Взгляды всего цеха устремляются на первый стол. Картон скребет по дереву. Шуршит бечевка. Приклеиваются этикетки. Шуршит шелковистая бумага в коробках. Все сорок восемь упаковщиц не раскрывают рта.

Безупречный пробор. Безупречно выбритые щеки. Безупречный воротничок и манжеты. «Вот это мужчина». Герта проводит языком по нижней губе. Оторвавшись на секунду от крышки, изящно взбивает рукой волосы.

Черненькая за первым столом поправила прическу. Вытянулась, стараясь казаться выше. Втянула живот, выпятила грудь. Мунк что-то ей говорит. За спиной у него лента транспортера. И тут у черненькой выскальзывает из рук крышка. Приземляется возле правой ноги Мунка. Но Мунк и не думает наклониться. Он стоит и разглагольствует. Упаковщицам он смотрит только на руки. Контролирует темп. Рассуждает о сработанности, подвижности, сноровке.

Черненькая покидает свое место. Картонки громоздятся возле ее соседки, укладчицы. Черненькая проходит за ее спиной вдоль стола, направляется к Мунку. Теперь они стоят почти рядом. Упаковщица наклоняется за крышкой. Наклоняется, не сгибая колен. Бедра округляются, халатик натягивается очень туго, прямо посреди округлости

огромный желтый цветок. Привлекательно обтянутый зад оказывается на одном уровне с поверхностью стола. Над столом возвышается Мунк. Двумя руками черненькая ухватывает крышку. Выпрямляется. Грудь выпячена, живот втянут. Покачивая бедрами, она обходит стол, направляясь к своему месту. Сзади видно, как стремительно движутся теперь ее руки. За полминуты надеть на коробку крышку, отправить коробку дальше, следующая, прошу вас.

Безупречный Мунк направляется к следующему столу. Замеряет темп. Через семь минут он у третьего стола. Мюллерша колышется всем телом. Ручейки пота струятся по лбу, по щекам. Штефи хихикает. Но быстро подавляет смешок. Три с половиной марки в час, если бы не Мюллерша.

— Фрау Мюллер,— произносит Мунк, ничего не скажешь, здорово он к ней подъехал,— при том же заработке вы могли бы иметь гораздо более подходящую вам работу. У нас работой вы будете обеспечены всегда, независимо от кризиса сбыта. Мы готовы сделать все ради вашего хорошего самочувствия.

Мюллерша буквально раздувается от важности. Дыхание со свистом вырывается у нее из горла. Она не произносит ни слова.

— И знаете, фрау Мюллер, второй упаковочный цех устроит в вашу честь небольшой праздник, вы ведь работаете у нас больше двадцати лет, не так ли? А после этого мы переведем вас в отдел контроля. Будете сидеть там спокойно и проверять, нет ли брака в наших игрушках. Как вы относитесь к такому предложению, фрау Мюллер?

Мюллерша похожа на мешок жира. Вся ее огромная плоть от волнения колышется. Она обливается потом. Но не произносит ни слова.

— Вот и прекрасно, фрау Мюллер, хорошо, что мы понимаем друг друга. Я поговорю с начальником отдела кадров. Мы постараемся подыскать место, где вам будет хорошо. И зарабатывать вы будете почти столько же.

«Гертруда,— сказала ей в тот день госпожа Хамбергер,— пусть даже эти люди могут позволить себе только чердачный этаж, все равно это переходит все границы. Вы ведете себя в высшей степени странно, моя дорогая Гертруда. Попробуйте подыскать себе другое место».

Через час двадцать четыре минуты Мунк наконец закончил обход всех двенадцати столов. Еще в этом году будет проведена модернизация рабочих мест. Весь упаковочный цех будет поставлен на конвейер. Никаких столов и упаковочных бригад. Это вчерашний день.

Когда Мунк покончил с последним столом, часы показывали ровно двенадцать пятнадцать. Включили громкоговоритель. Сирена, затем голос диктора: «В упаковочных цехах с первого по пятый обеденный перерыв до тринадцати часов. В течение этого времени допускается уход с рабочих мест».

Заявление со всеми необходимыми документами следует подавать под шифром АХК 32038.

Денек

Герберт Найдлих наткнулся на нее около восьми утра. Как обычно, он намеревался засесть за работу в своей конторе.

Уже подходя к входной двери, он заметил, что во дворе кто-то валяется. «Пьяный», — сразу пришло ему в голову.

Пьяница.

И он пнул ногой неизвестного, распростертого на черной как деготь земле.

— Вставай! — обратился он к нему.

Поскольку тот никак не прореагировал, Герберт Найдлих пнул еще раз.

— Пьяный дурак, — пробормотал он.

И решил, что ему все-таки пора приниматься за работу.

Напоследок он пнул его еще раз. Ударил в зад со всего размаху.

И захохотал.

Он вообще любил позабавиться.

Наконец он добрался до своего письменного стола.

Войдя, спросил секретаршу:

— Эдит, вы видели, кто валяется там, на улице?

Та выглянула в окно.

— Теперь вижу,— ответила она.

Эдит была одной из тех, кто позднее даст показания, что видели женщину днем, после двенадцати, в городском парке.

Обычно секретарша проводит там свой обеденный перерыв. Если погода хорошая и нет дождя, она садится на скамейку и аккуратно очищает апельсин. Тщательно выбирая все белые пленки, подцепляя их кончиками ногтей.

Потом вонзает длинный ноготь большого пальца в самую середину и делит апельсин пополам. После этого, методично отделяя дольки, похожие на полумесяцы, отправляет их в рот одну за другой.

У нее маленький рот. О пожилых она высказывается с раздражением. Говорит: «Эти старики занудные».

— Я видела женщину,— сообщит она потом для следствия.— Около двух. Я сидела на скамье против бассейна.

Кое-кто из гуляющих уселся на край и опустил голые ноги прямо в бассейн.

Женщина вошла в парк со стороны здания суда.

Да, конечно, я заметила сумку.

Она была у нее надета через плечо.

Через левое плечо.

Не знаю, полная была сумка или пустая...

Я обратила внимание, что брюки у женщины внизу обтрепаны. Она села на скамейку рядом со мной.

Очень может быть, что она была пьяная.

С трудом переставляла ноги, еле волочила.

Гравий шуршал под подошвами.

Вдруг мне показалось, что она вот-вот потеряет равновесие и упадет.

Она опустилась на край бассейна.

Наклонившись к воде, черпала ее обеими руками и пила.

Не могу точно припомнить, но сумку она при этом, наверное, сняла.

Нашлись и другие, что тоже уселись на край бассейна и болтали в воде ногами.

Скорее всего, она поставила сумку рядом на гравий.

Сидела недолго.

Когда она стала подниматься, я решила, что теперь-то она уж точно плюхнетя прямо в бассейн.

Я не умею плавать.
Она медленно побрела вокруг бассейна.
Выглядела усталой.
Если она была голодная, могла бы поесть где-нибудь —
в конце концов.

Но очень уж она была грязная.
Обойдя бассейн, она опять присела на его край, с другой стороны, нагнувшись так низко, что видна была лишь ее согнутая спина.

Она закатала штанины до колен и сняла туфли.
Я бы ни за что не стала совать ноги в воду у всех на виду.

Она опустила ноги в бассейн.
День выдался солнечный и жаркий.
Все предвещало хорошее лето.
Потом я перестала наблюдать. Съела апельсин, откинулась на спинку скамейки — благо погода стояла прекрасная — и закрыла глаза.

Без пяти два я собралась обратно на работу и снова увидела женщину.

Она стояла на дорожке позади меня. Мне стало противно.

За пять марок шестьдесят пфеннигов, что лежат у меня в сумке, я могла бы купить себе апельсин.

Могла бы позволить себе усесться на скамье против бассейна и очистить его.

Вода в бассейне холодная. У меня ноги устали. Распухли, отекли, и туфли давят. Я жалею свои ноги.

Мама часто повторяла: «У девочки красивые ножки». «Посмотри, какие у меня ноги. Нравятся?» — спрашивала я одного знакомого.

Когда десять лет тому назад я ушла из дому и начала самостоятельную жизнь, ноги мои вознаграждались за мою смелость лишь пузырями, я постоянно их натирала. Но потом они привыкли к каждодневным скитаниям. Стараясь облегчить им жизнь, я бродила лесными тропами. Там почва мягкая, пружинистая.

Ничего, вода их освежит.

Другие вон тоже свесили ноги в бассейн.

Я закрыла глаза. Голова как будто отделяется от туло-

вища, мне кажется, что она держится на длинной шее, уставившись на ноги, которые как будто совершенно отдельно от тела стоят на гравии.

Сейчас мои ноги напоминают клюющих птиц.

Наконец через неделю объявляется родственник.

— Это моя племянница,— говорит он,— ее зовут Кристина Радлеф, урожденная Халлер. Выродок она какой-то,— объясняет он.

В четырнадцать лет первый раз сбежала из дому.

Родители у нее прекрасные люди.

Мой брат — преуспевающий делец, торгует лесом.

Она ведь обязана была выйти замуж, чтобы супруг продолжил лесоторговое дело. Лесоторговля Халлеров велась три поколения.

Так вот, в четырнадцать девчонка сбежала.

Полиция схватила ее в Гамбурге, когда она спала на скамейке в сквере.

С Кристиной хватало забот.

В день шестнадцатилетия мы обнаружили ее с моим сыном Йоханом рядом со штабелями досок во дворе. Забавлялись.

Могли бы и на склад пойти.

Но они устроились прямо во дворе.

И были наказаны ремнем.

Кристина больше так и не увидела Йохана, а он ей нравился.

Брат подыскал ей жениха, кое-что смыслящего в лесной промышленности.

Восемнадцати лет Кристина вышла за него замуж и родила сына, который носит теперь фамилию Радлеф-Халлер и потом унаследует дело.

Но ведь Кристина ненормальная...

Матери не хотелось, чтобы дочь заработала дурную репутацию, и держала ее взаперти.

Я лично ничего худого Кристине не сделал.

В четверть девятого во двор въехала машина.

Хорошо еще, что водитель вовремя заметил распластанную на земле фигуру. Он выругался и затормозил.

Герберт Найдлих стоял у окна своей конторы и смотрел

во двор. Он увидел, как шофер выбрался из кабины и подошел к телу. Склонился над ним, схватил за плечо и потрянул.

— Эй, давай подымайся! — сказал он.

Потом вернулся к машине и вытащил бутылку водки. Опять подошел к распростертой на земле фигуре, приподнял голову с коротко стриженными волосами и повернул лицом к себе. Это оказалась женщина.

Шофер рассказал:

— Сначала я решил: пьяный. А обнаружилось, что это женщина. Тут мне пришло в голову, что водка здесь ни к чему, но потом все-таки попробовал дать ей глоток — глядишь, поможет.

Герберт Найдлих наблюдал за тем, как шофер в голубой куртке с оранжевыми знаками дорожного рабочего на груди и на спине прижал к губам женщины бутылку.

— Но она не пила, — сказал шофер, — водка пролилась мимо прямо на свитер.

Я решил, что продолжать не имеет смысла. Потом обратился к господину Найдлиху, чтобы тот вызвал полицию. Мне показалось, что дело плохо.

Она была совсем холодная.

К показаниям шофер добавит еще вот что:

— Мой отец однажды тоже чуть не наехал на такую же женщину, которая так же лежала, вся в грязи.

Он никогда не оставлял никого на произвол судьбы, лишь бы отделаться.

Он нервный.

Недавно, как обычно после обеда, он кормил птиц в городском парке.

Он говорит, что птицы успокаивают ему нервы.

К спиртному он никогда не прикасался.

Водка употреблялась только в технических целях.

Вождению я ведь у отца научился.

(Герберт Найдлих видел, как шофер медленно поднимался, опираясь рукой на колено.)

Когда шофер рассказал о случившемся дома, отец, хлебная суп, произнес:

— Эту я встретил вчера в парке. Она так чудно шла по дорожке.

Жена шофера сделала нетерпеливый жест.

— Было ясно,— продолжал муж,— что с ней что-то неладно. Она с трудом двигалась от скамейки к скамейке.

Жена шофера стала их поторапливать — чтоб скорее доедали суп.

Еде она придавала большое значение и к ужину обычно причесывалась.

— Девчонка,— сказал отец,— из-за которой тебе пришлось затормозить, села на скамейку рядом со мной. Она закрыла глаза.

Про сумку не припоминаю.

Может, у нее и была сумка.

С виду девушка совсем оголодала.

Мне показалось, что она уснула рядом со мной на скамейке.

Ноги она аккуратненько так поставила на гравии, параллельно друг другу.

Я кормил своих птиц.

Девушка их не распугала.

Наверное, нужно было предложить ей хлеба? Открыв глаза, она повернулась ко мне и улыбнулась.

Потом стала наблюдать за птицами.

Сидела тихонько.

По-моему, она была чем-то расстроена.

Наконец поднялась и пошла маленькими шажками по гравийной дорожке.

Я сказал: «До свидания».

Не знаю, куда она пошла.

Но пошла.

Она что-нибудь натворила?

Старик, сидевший на скамье рядом со мной, кормил птиц.

«Они знают его»,— подумалось мне.

Он вытаскивал кусочки хлеба из коричневого мятого пакета. Вынимал по куску и разламывал обеими руками. Часть, которая оставалась в левой руке, клал рядом с собой на скамейку. Остальное разминал правой рукой и, отделяя мякиш от корки, крошил его и бросал птицам, себе под ноги, на гравий.

Птицы совсем ручные.

Я тоже могла купить хлеба на пять марок шестьдесят пфеннигов.

Могла бы сидеть в парке на скамейке и есть хлеб с апельсином.

Купила бы горячий хлеб, завернула в бумагу, взяла его под мышку и чувствовала бы, как он согревает меня.

Вдруг я ощутила боль в желудке.

Он напоминал пустую посудину, плывущую по воде. Посудина росла. Когда я закрыла глаза, осталась только лодка, уже без воды.

То была гребная шлюпка, у которой отсутствовали весла.

Мой брат, Фриц Халлер, приурочил Кристинину свадьбу к ее восемнадцатилетию. Устроил все как полагается. Ему это влетело в копеечку.

Думаете, Кристина обрадовалась?

После обеда гости и новобрачные отправились на прогулку по озеру на колесном пароходе. Невероятное событие для Халлеров!

Мать даже прослезилась и поцеловала Кристину.

Радлеф мужик что надо. Кое-что смыслит в дереве.

Вечером он пришел к Халлеру и говорит: «Кристина хочет покататься на гребной шлюпке по озеру».

С Кристиной вечно одни заботы и неприятности.

Брат сказал Радлефу: «Тащи ее наверх, может, ей что другое больше придется по вкусу».

Радлеф поднялся наверх, в спальню, вместе с Кристиной.

У нас был счастливый день, и я с ней даже побеседовал немножко.

В девятнадцать лет она родила сына. Его назвали Фрицем, в честь брата, фамилию ему дали двойную: Радлеф-Халлер.

Когда внуку исполнился год, брат окончательно передал все свое дело Радлефу, у которого теперь появился наследник.

Кристина часто огорчала Радлефа.

«Она задумывается», — пожаловался как-то Радлеф.

Однажды он выкинул книжку в окно.

Потом ему пришлось ее даже поколотить.

Маленький Халлер развивался прекрасно.

Кристина все же любила сына. Но второго ребенка заводить никак не хотела.

«Я вам родила наследника для вашего дерева», — говорила она.

«И хватит», — думал про себя я.

Брат сказал Радлефу: «Если с Кристиной не станет лучше, придется сдать ее на лечение».

Халлеры всегда были здоровыми людьми.

Радлефы тоже влили хорошую кровь.

И все-таки позже нам пришлось обследовать маленького Халлера.

Врач сказал, что он совершенно нормальный.

«Но он похож на вас», — объявил он брату.

Что до меня, пусть бы Кристина делала что ей вздумается.

Герберт Найдлих говорит: «Женщину мы оттащили в сторонку, чтобы во двор могла въехать машина».

Герберт Найдлих сам принялся за дело. Он взял женщину за ноги и завернул брюки повыше, чтобы легче было ухватиться. Чулок на ней не оказался.

Найдлих подхватил ее под коленками и придерживал за щиколотки — чтоб ноги не болтались. Ему удалось это без особых усилий.

Они с шофером вместе подняли женщину в том положении, как она лежала — лицом вниз.

Шофер поддерживал ее под мышки.

«Давайте положим ее туда», — предложил Герберт Найдлих и кивнул в сторону штабеля досок.

Пошатываясь из стороны в сторону от тяжести, мужчины продвигались вперед.

Тело женщины неуклюже покачивалось в такт их шагам.

Герберт Найдлих положил женщину лицом на доски.

«Теперь ты можешь подъехать на машине», — сказал он шоферу.

Тот пошел к грузовичку, дверца которого оставалась до сих пор открытой.

Герберт Найдлих выскажет свое мнение: «Я тогда понял, что с ней случилось».

Он прикурил и бросил обгоревшую спичку рядом с досками, на которых покоилась женщина.

Его жена потом скажет следователю: «Я видела ее». Она скажет это так радостно, как будто ей удалось найти новый рецепт приготовления пирога.

Она стояла и заглядывала в детскую коляску. Я подумала: «Что ей здесь надо?»

Сумку она волокла за собой прямо по земле.

Я еще подумала: «Она тащит за собой грязь».

Ребенок после этого заболел.

А она лишь минуту смотрела на него.

Надо запретить подобным особам прогуливаться в городском саду.

Потом женщина направилась в сторону вокзала.

Я видела, как она шла вдоль бордюра, выложенного из камней,— по кромке тротуара, как делают дети: надо так аккуратно переставлять ноги, чтобы не наступить на швы между плитами.

Я решила про себя: «Она потеряет равновесие и упадет прямо на проезжую часть — прямо под машину».

Никто не успеет затормозить так быстро.

Наверняка она была пьяная.

«Кто оплатит убытки?» — подумалось мне.

На привокзальной площади она носилась по газонам и клумбам, а ведь по газонам ходить воспрещается!

Я заметила, как она подошла к одной женщине.

«Просит денег»,— пришло мне в голову.

Однако она не села на поезд.

Откуда я могла знать, что она собирается делать?

Иногда я заглядываю в детские коляски.

Шагаю — как раньше — вдоль бордюра, по краю тротуара.

«Туфли испортишь»,— вечно ворчала мать, когда я была маленькая.

Я любила играть в классики, которые мы рисовали прямо на тротуаре осколком кирпича. Я всех обставляла: здорово прыгала.

Еще мне нравилось ходить так: одной ногой ступая по кромке тротуара, а другой — по мостовой. Бегу, бывало, домой вприпрыжку. Зимой для меня представляло особое удовольствие выскочить на дорогу наперерез мчащимся на меня машинам и смотреть в упор на их фары. Глаза

я подкрашивала.

Они у меня от этого начинали слезиться.

На пять марок и шестьдесят пфеннигов я могла бы приобрести билет. Ничего не стоило выбрать маршрут по карте и узнать, какие поезда следуют к выбранному мной пункту. Девушке за кассой я бы сказала: «Один билет, простой». Девушка бросила бы билет во вращающуюся чашку, а я бы положила в нее деньги, чашка повернулась бы обратно, я взяла бы билет и положила в нее мелочь, которую ей пришлось бы выковыривать кончиками ногтей.

Села бы на поезд.

Потом Радлеф понял, что Кристина ему все-таки дорога.

Но она слишком много играла с ребенком. Когда сыну исполнилось три года, она стала бегать с ним наперегонки по краю тротуара.

После этого Радлеф затолкал ее в комнату и запер на ключ на три месяца.

Она все время читала.

Кроме того, ей выдали мел, и она начертила на полу классики. И прыгала вместе с маленьким Халлером.

На улице мальчик тоже прыгал — с другими детьми, и мой брат очень гордился, что он прыгает лучше всех.

Кристина как-то сказала Радлефу: «Ты не ценишь меня, потому что я не собственница и не предъявляю права на собственность».

Радлеф ее избил.

Потом опять пожалел ее.

Радлеф кое-что смыслил в деревянных делах и хорошо справлялся с работой.

Он все надеялся, что с Кристиной у них уладится.

Я, со своей стороны, ничего худого ей не сделал.

Однажды, когда я как-то зашел в ее комнату, она спросила даже: «А чем занимается Йохан?»

Может быть, сказала она, я полюбила бы его.

Когда наступила весна, она сбежала. Мы узнали потом о ней — совсем случайно.

Один знакомый рассказал, что встретил ее на юге Франции. У нее были длинные волосы, и выглядела она счастливой.

Она там была с мужчиной. Через год она написала мне.

После уж больше не писала. В письме сообщалось:

«Я знала, что такое случается, но надеялась на счастливый конец. А он бросил меня.

Я теперь остриглась — так удобнее».

Больше мы о ней ничего не слышали.

Мальчик не помнит матери. Мы так поступили, потому что так надо. Радлеф отдал его в интернат. Там он получит воспитание. А потом отец передаст сыну свое дело.

Мальчишка — настоящий Халлер.

А с Кристиной ничего не вышло.

Около десяти часов утра Найдлих сообщил о женщине, лежащей во дворе, в ближайший полицейский участок.

Денек обещал быть жарким.

Как только полицейская и санитарная машины въехали во двор, вокруг собралась толпа.

Двое полицейских записывали: молодая женщина, примерно тридцати пяти лет, волосы темно-русые, стрижка мужская. Одета в два натянутых один на другой черных свитера и в зеленые мужские брюки. С собой у нее — сумка, в которой оказалось пять марок шестьдесят пфеннигов мелочью.

Вдруг какой-то парень — примерно четырнадцати лет — поднял руку.

Полицейский попросил его подойти поближе. Подвел его к мертвой женщине, которую к тому времени перевернули, чтоб было видно ее лицо, все измазанное в грязи.

— Я видел ее вчера, — проговорил парень, — мы играли в футбол во дворе интерната, и мяч перелетел через забор. Эта женщина сидела напротив интерната в сквере. Она все время смотрела на нас.

Она подняла мяч и кинула нам.

Бросила она его ловко.

Потом подошла к забору.

От нее плохо пахло.

Полицейский попросил юношу назвать свое имя.

Это была еще одна случайность. Жизнь Кристины Халлер состояла из сплошных случайностей.

— Может, она отравилась, — предположил кто-то в толпе.

Полицейский обратился к водителю грузовичка:

— Как вы заехали во двор? Перед этим не пили?

— Она умерла с голоду,— прошептал кто-то.

— Я не виноват,— сказал водитель грузовичка.

Она была выпивши.

Прошло два дня, а личность умершей все еще не была установлена.

Хорошо, что тот молодой парень отправил письмо домой. Он каждую неделю отчитывался перед родней о своей жизни в интернате. Случившееся не оставило его равнодушным, и к письму он приложил портрет женщины — из газеты,— женщины, вернувшей ему мяч.

Радлеф послал брата своего тестя в город.

Они говорили мальчику: «Твоя мать умерла десять лет назад».

Они не сказали ему, что это мать подала ему мяч.

Послали в город дядю. Он должен был предать ее тело кремации.

Без лишних трат.

На привокзальной площади я заговорила с одной пожилой женщиной.

Спросила у нее: «Вон те раскидистые деревья, растущие вдоль газонов, это что — магнолии?»

«В южной Франции магнолии уже зацвели»,— сказала я. Цветы большие — с мою ладонь.

К сыну я не подошла. Он показался мне именно таким, что стал бы прилежно продолжать дело по обработке дерева.

За пять марок и шестьдесят пфеннигов я могла бы купить себе магнолии.

Я зашла в цветочный магазин у вокзала. Спросила: «У вас есть магнолии?»

Продавщица ответила: «Вы обращаетесь не по адресу».

Неполный рабочий день

Я обрезаю края. Пересчитываю. Разрываю. Складываю в пачки. Перевязываю пачки медной проволокой. Складываю макулатуру в стопки. Две тонны макулатуры за полнедели. Газеты в одну сторону, журналы в другую. Я сортирую печатную продукцию, не нашедшую спроса. Пыль оседает на волосах. Проникает во все поры. Кожа делается липкой. На улице грохот отбойных молотков. Это под вокзалом строят станцию метро.

С утра мы работаем с газетами Федеративной Республики. После десяти подвозят иностранные. В промежутке я обрабатываю журналы. Одни необходимо рвать пополам, у других отсекают заголовки.

Отсекаю я уже довольно умело.

На склад печатной продукции требуется на неполный рабочий день молодая умелая женщина. Обращаться в газетный киоск на вокзале.

Уже через два дня я знаю, как выглядит заголовок «Известий». Могу читать шапки греческих газет.

Через неделю обе мои напарницы начинают выпрашивать меня.

Когда нужно отсечь заголовки у шестисот экземпляров «Бильд», это берут на себя напарницы. Каждая по триста штук. Они соревнуются, сколько понадобится им на это времени. Одна следит по часам. Они отсекают и считают. Указательный палец с резиновым наконечником за уголок отделяет один экземпляр, большой и средний пальцы захватывают газету и быстро подкладывают под линейку, потом на линейку нужно навалиться всем телом, голову откинуть в сторону, тут же выхватить отсеченный кусок, левой рукой переложить газету в стопку, снова поднять линейку, а указательный палец с резиновым наконечником уже отделяет еще один экземпляр за уголок. За четверть часа все шестисот экземпляров «Бильд» обработаны. Женщина слева от меня справилась быстрее. Ей это неприятно. Та, что справа, занимается этим делом уже пятнадцать лет, она начальница над той, что слева, которая работает всего десять лет. Вот почему моя соседка слева старается по возможности принизить свой успех.

В десять у нас перерыв. В автомате я беру себе за двадцать пфеннигов стаканчик кофе; чтобы он был полнее, приходится разбавлять кофе водой.

— Работа нелегкая, чего уж там,— замечает старшая, та, которая работает уже пятнадцать лет. Волосы у нее совсем седые.

— Особенно в молодости. В молодые годы нельзя перенапрягаться.

Обе они пьют чай, который сами заваривают тут же, пристроившись на краешке стола. Та, что помоложе, терпеть не может чай, но сказать об этом начальнице не решается. Зато говорит мне, пока начальница выкуривает в туалете сигарету.

— Приходится принимать сейчас противозачаточные таблетки,— замечает между делом та, что моложе.

— Я просто счастлива,— тут же отзывается старшая,— что мне уже больше не нужно думать о таких вещах.

— А ведь у вас тоже двое детей,— говорит мне та, что моложе.

Мне платят здесь три с половиной марки в час, еще постоянно вычитают за что-то. На руки выдают совсем немного.

— Знаете,— говорит та, что моложе,— я родила первого в девятнадцать. А дальше уже жизни не было.

— Вы, кажется, закончили полную среднюю школу? — спрашивает меня старшая.

Если повезет, в час выходит по две марки сорок. Я работаю пять часов в день, шесть дней в неделю. С половины восьмого утра до половины первого. После накатывает страшная усталость.

— Она учила латынь,— говорит та, что моложе,— и наверняка умнее, чем мы.

Пять часов на ногах, затем еще давка в трамвае. От людей пахнет потом и одеколоном, от пожилых мужчин чесноком. По субботам в трамвае много рабочих-турок.

— Как подумаешь,— говорит старшая,— что моей Рези пришлось бы вот так вкалывать, с ее-то двумя детишками. Моей Рези столько же, сколько вам. У нее язва желудка.

— Вы наверняка вышли замуж сразу после школы,— говорит та, что моложе.

Дома меня ждут усталые и голодные дети. Приходится

работать и по субботам, чтоб освободить одну из моих напарниц, долгие годы они не могли себе этого позволить, так они говорят.

— А вы тоже принимаете таблетки? — спрашивает та, что моложе.

— Третьего вам рожать не следует, — говорит старшая.

По вторникам и пятницам приезжают за макулатурой от торговца. Взяв в руки пачку, мужчина вслух называет вес, намалеванный на ней красным фломастером. Женщина слева складывает эти числа в уме, не прерывая своих занятий. А ведь у посыльного есть помощник. Но у того с головой явно не все в порядке.

— Он забывает даже, что должен работать, — говорит мужчина, взваливая на плечи кипу газет. Помощник стоит скрестив руки.

Через две недели я уже запросто обрезаю семьсот экземпляров «Бильд» всего за двадцать минут.

— А вы стругаете уже наравне с нами, — говорит та, что моложе.

Теперь они доверяют мне самостоятельно сортировать на полке иностранные газеты.

Через неделю кончается испытательный срок. Месяц дадут мне, чтобы решить, хочу ли я остаться здесь навсегда. Им нужна смена.

В пятницу за макулатурой приезжает посыльный. Его помощник, скрестив руки, стоит у входа. В половине восьмого я протискиваюсь мимо него в комнату. Детей я подняла, умыла и накормила между шестью и семью.

Посыльный называет вслух вес. Я начинаю отсекавать заголовки. Мужчина берет пакеты с самого верху. Я отделяю указательным пальцем в резиновом наконечнике за уголок один экземпляр, прихватываю его большим и средним. Краешком глаза вижу, как стопка макулатуры едет вбок. И все-таки сперва я отсекаю заголовок. Напарница, что помоложе, кричит. Мужчина резко оборачивается, и тут на него падают тяжеленные тюки, с таким трудом сложенные друг на друга, он получает сильный удар по голове. Помощник, идиот, никак не реагирует на происходящее.

Санитар из соседнего дома пытается, как может, помочь.

Через два дня заканчивается мой испытательный срок.

— Вы, конечно, остаетесь? — спрашивает старшая.

— Нет,— отвечаю,— здесь я пропаду.

Я подыскала себе более приятную работу. Четыре часа в день я должна обзванивать разных клиентов, за это на руки выходит по три с половиной марки.

Маленькое путешествие

Раз в месяц что-то говорило ей: пора!

Вечером Марта собирала чемоданчик, заводила будильник, хотя просыпалась каждое утро в половине шестого, предупреждала соседку и пораньше ложилась спать.

Все было готово. По телевизору она посмотрела сводку погоды и, поскольку день завтра обещали теплый, вытаскала из шкафа розовое шелковое платье в крохотный серый горошек и бережно повесила его на кресло; затем достала свежее белье, ортопедические туфли и новые чулки.

Прежде чем погасить лампу над изголовьем, она бросила взгляд на кресло и удостоверилась, что все лежит как полагается,— можно спать.

Сколько себя помнит, она всегда хорошо умела готовиться. Каждое утреннее движение отработано до автоматизма: она ставит чайник и, вынув из холодильника масло, идет в ванную; заваривает чай и одевается; слушает по радио новости и сводку погоды, а сама меж тем ставит на поднос посуду, джем, хлеб, масло, чай с сахаром и несет в комнату.

Завтракает она не спеша и при этом смотрит в окно — на небе ни облачка, как и сказали по радио. Это ее день.

Дожевывая последний кусок, она выходит из-за стола, берет чемоданчик и открывает крышку. В чемоданчике пара туфель, смена белья и ночная рубашка; она берет с ночного столика фотографию в рамке и кладет сверху, стеклом вниз, чтобы не разбить.

Жильцы дома знают, что и как. Когда она выходит из

квартиры, ставит чемоданчик на площадку и дважды поворачивает ключ в замке, окна у нее заперты, вода и газ отключены. Все в порядке.

Она спускается по лестнице с чемоданчиком в одной руке и сумкой в другой; дети, идущие в школу, обгоняют ее. Они любят Марту.

Воздух на улице теплый, насыщенный выхлопными газами. Прохожие спешат по тротуару, дверь булочной распахнута настежь.

Через несколько кварталов Марта входит в метро, покупает билет, спускается на эскалаторе к платформам, затем садится в поезд и едет на Главный вокзал. Времени у нее вполне достаточно.

На вокзале ей все знакомо. Прикинув на глаз длину очередей в билетные кассы, она становится в ту, что покороче.

Уже продвинувшись на несколько шагов вперед, она замечает в соседней очереди маленького мальчика. Он цепляется за материну руку и, как на коньках, скользит по каменным плитам туда-сюда, туда-сюда. На другой руке молодая женщина держит младенца, в ногах у нее дорожная сумка. Марта улыбается ей.

Женщина по нынешним временам самая обыкновенная — молодая, длинноногая, длинноволосая, хрупкая. Она робко улыбается в ответ.

Марта достает из сумки шоколадку.

Можно тебя угостить? — спрашивает она.

Мальчик доверчиво берет гостинец.

У нее внук того же возраста.

В следующем месяце ему будет три, уточняет молодая женщина. Мы едем к моей маме. Обычно муж привозит нас прямо к поезду.

Марта счастлива. Раз в месяц она находит человека, с которым можно поговорить. На это она и настроилась. Ради этого ищет купе, где уже сидят люди, выказывает готовность помочь и держится приветливо.

Я могу проводить вас и детей к поезду, говорит она.

Времени у нее достаточно.

Оказывается, ехать им на одном поезде, но это чистая случайность.

Молодая мать смеется. Вы тоже в Гамбург? Надо умудриться сделать так, чтобы все восемь часов дети вели

себя тихо.

Когда мы бежали из Дрездена в Рейнскую область, мои дети были такие же маленькие, говорит Марта.

Подошла ее очередь, она ставит чемоданчик на пол, вынимает из сумки кошелек.

Обратный? — спрашивает кассир.

Она качает головой: нет, в один конец. Марта знает стоимость билета и отсчитывает деньги в металлическую чашку.

Воздух на перроне отдает железной пылью.

Она держит маленького мальчика за руку, в другой руке у нее чемоданчик и сумка.

Поезд только что подошел, люди толпами устремляются в вагоны.

Удобный поезд, говорит она, всегда полон пассажиров.

Вместе с молодой женщиной и детьми она идет вдоль состава, заглядывает в окна купе; в предпоследнем вагоне обнаруживаются свободные места.

Молодая женщина дает ей подержать младенца, а сама ставит свою дорожную сумку на полку для багажа.

Нет-нет, говорит Марта, чемоданчик пусть лучше стоит на полу.

Остальное муж сдал в багаж, рассказывает молодая женщина, забирая у нее младенца. Марта сует мальчику еще кусочек шоколада.

Он называет ее бабушкой. Она ничуть не возражает. Через двадцать минут поезд трогается.

У меня сын в Гамбурге, рассказывает Марта. А дочка семь лет назад вышла замуж и уехала в Канаду. Письма шлет и фотографии своего дома, мужа и детей. У них там замечательно.

Она вынимает из сумки конверт с цветными фотографиями. С невесткой в Гамбурге они не очень-то ладят.

Я всего лишь свекровь.

Лететь в Канаду слишком далеко. Там у нее трое внуков. А в Гамбурге только один.

Тогда радуйтесь встрече с сыном, говорит молодая мать.

Марта крепко держит маленького мальчика, который, стоя на коленках, прижимается лицом к оконному стеклу. Поезд набирает скорость, он уже на городской окраине.

Ребенку надо придумать занятие, говорит она и показы-

вает ему первых коров, пасущихся за городом на лугу.

В Гамбурге непременно свозите малыша к морю.

Мама встретит нас на вокзале, сообщает попутчица.

Марта смотрит на нее. Моложе дочери, моложе невестки. Лицо нежное, гладкое, подкрашенное совсем чуть-чуть.

Чем же занимается ваш муж?

Он консультант по сбыту в одной крупной фирме и часто в разъездах.

Младенец у нее на коленях спит, головка его лежит на сгибе ее локтя, чтоб меньше трясло.

Тоже мальчик? — спрашивает Марта.

Женщина качает головой, с нежностью глядя на младенца.

Нельзя же все восемь часов держать ребенка на руках.

Марта расстилает на сиденье рядом одеяло, которое нашлось в дорожной сумке молодой матери. Мальчик увидал стадо овец и ужасно разволновался. Поезд мчится полным ходом, за окнами золотисто-зеленые холмы, рожь стоит высокая-высокая, а иногда мимо пролетают полустанки. Марте хорошо знакомы эти места.

Смотри, бабуля, говорит мальчик, и она рассказывает ему про шерсть, которую дают овечки.

Вы сидите, сидите, говорит она молодой женщине, а то малышка проснется. Сама встает, розовое платье шуршит от каждого движения. Вынимает из сумки рожок, пеленки и маленькую подушечку. Устраивает на сиденье рядом с молодой матерью постель для младенца, ведь других пассажиров в купе нет.

Внуки, наверно, очень вас любят?

Марта кивает. В Гамбурге она последний раз была на крестинах внука.

Они вместе укладывают младенца на одеяло, и по чистой случайности их руки соприкасаются.

Вы живете одна? — спрашивает молодая женщина.

Уже восемь лет, отвечает Марта, расправляя на коленях платье.

Поезд подъезжает к первым многоэтажным домам, стоящим, что называется, прямо в поле.

Это Аугсбург, говорит молодая женщина.

Поезд притормаживает, и Марта берется за чемоданчик. Она гладит мальчика по голове, улыбается молодой

матери. Та удивлена.

Да, мне только до Аугсбурга, говорит Марта.

Поезд стоит две минуты, она машет на прощание в сторону купе, за стеклом которого виднеется маленький мальчик. С чемоданчиком в одной руке и сумкой в другой она направляется в центр.

Обед еще не скоро. Магазины открылись, навстречу идут хозяйки с кошелками.

Добравшись до кладбища и поднявшись по лестнице к калитке в кирпичной стене, она чувствует, какой нынче жаркий день. Двадцать пять в тени, обещали по радио.

Гравийные дорожки среди могил тенисты и в эту пору почти безлюдны. Какая-то старуха несет в лейке воду. Прежде чем пойти на могилу мужа, Марта садится на скамью, ставит рядом чемоданчик, открывает сумку, вытаскивает носовой платок. Белый, обшитый узкими кружевцами. Утирает со лба бисеринки пота.

В старых кладбищенских деревьях пробегает ветерок.

Она вспоминает, как очнулась от воплей невестки.

Но это же не я, сказала тогда Марта, а сын возбужденно что-то ей выговаривал. Потом он отправил ее в больницу.

Она встает, поднимает со скамейки свой чемоданчик и идет дальше. В ортопедических туфлях ноги не устают.

За его могилой ухаживают кладбищенские садовники. Все в полном порядке. Надгробие выбрали дети. Марта ставит чемоданчик на землю, нагибается оборвать увядшие листья, относит их в мусорную урну возле водопроводного крана.

В городе Марта знает маленький, не слишком дорогой ресторан. Там она обедает, а потом едет обратно, автобусом. Это дольше, и маршрут не тот, что у поезда; ей нравятся места, по которым проложен автобусный маршрут. На автовокзал она приходит заранее, чтобы устроиться у окна, за спиной шофера.

Иногда, на ее счастье, рядом садится человек, с которым можно поговорить.

Она не помнит, когда он начал пить.

Пьяный, он давал волю рукам. Дети ушли из дома, как только подросли.

К вечеру она возвращается домой. Дверь булочной все

еще распахнута настежь.

На лестнице Марта встречает детей, спешащих играть во двор. Пусть шумят, ей это не мешает. Когда она отпирает дверь, соседка с хозяйственной сумкой как раз выходит из своей квартиры, здоровается и спрашивает: Благополучно съездили? Соседка — пухленькая женщина лет сорока пяти, иногда она покупает для Марты кое-что по мелочи.

В квартире жарко: южная сторона. Прежде чем пройти в комнату, она заглядывает в почтовый ящик на двери. Вынимает рекламу, писем нет ни из Гамбурга, ни из Торонто.

Из передней она идет в комнату, кладет чемоданчик на кровать, откидывает крышку и вытаскивает фотографию в рамке. Свадебное фото, как всегда, в целости и сохранности. Затем Марта выкладывает белье, ночную рубашку, туфли, относит все в шкаф, распихивает по местам.

Она не была несчастлива, когда он бывал трезв.

На кухне она ставит чайник и, вынув из холодильника масло, идет в ванную, потом заваривает мятный чай, а пока он настаивается, надевает халат, после этого относит чай, масло и хлеб на подносе в комнату и садится за стол. Она намазывает хлеб, наливает себе чаю, не спеша ест и смотрит в окно, на бледно-голубое теперь небо.

Ей хорошо в этой комнате, которую она сняла два года назад, так как не хотела после освобождения возвращаться в Аугсбург.

Дети отказались взять ее к себе. И Марта не была на них в обиде.

Покончив с едой, она выливает в чашку остатки мятного чая, а остальную посуду относит на кухню, моет и убирает.

За окнами вечерет. Уличный шум доносится глуше. Марта сидит у телевизора и мелкими глотками прихлебывает чай.

Теперь-то она понимает, что ей не следовало наносить удар. Он пробовал защититься, и с испугу она отпрянула. Он покатился по лестнице, он кричал от боли и был весь в крови.

Она зарубила его топором. Затем написала детям прощальное письмо и выпила пригоршню снотворных таблеток. Утром сын и невестка нашли ее.

После сводки погоды она ложится спать. Постель уже разобрана. Прежде чем погасить свет, она бросает взгляд на кресло, где сейчас ничего нет.

Суд принял во внимание жестокую судьбу шестидесятилетней обвиняемой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

Марта блаженно закрывает глаза.

Раз в месяц что-то говорит ей: пора! — и она готовит свое маленькое путешествие.

Херб

Чем дальше я размышляю об этой истории, тем более невероятной она мне кажется.

Херба привел Томас.

Ты что, не мог предупредить? — спросила я его.

Да он сам за мной увязался, ответил Томас. Позднее он уверял, что учился с Хербом в одной школе.

В какой такой школе?

Они сидели в гостиной, смеялись. Херб чувствовал себя совершенно как дома.

Прошу вас, сказала я, приготовив бутерброды с остатками колбасы и сыра.

Меня спрашивать не надо, ответил Херб.

Томас скормил один бутерброд собаке, а на моих коленях сидел кот.

Где вы живете? — спросила я Херба.

А вы, сообщил он, знаете, что женщины превращаются в птиц?

Спящие кошки здорово похожи на кули с мукой. Томас больше любит собак, и Херб поинтересовался: вы приучали кошку и собаку друг к другу?

Слушай-ка, сказала я Томасу, но он слушать не стал.

После завтрака Херб остался дома, а мы с Томасом поехали по делам. В машине я сказала: не очень-то мне по

душе нахальные гости.

Ты же знаешь, какой он, отозвался Томас.

Вовсе нет.

Было лето, а от этого я каждый год прямо шалею. Достаточно одного теплого денька, хотя бы и в феврале, и я уже нервничаю.

Вечером Томас подстригал лужайку, а я сновала по квартире, как узница по камере. Да, забыла сказать: открыл нам Херб. И на кухне ждал горячий ужин. Кот сидел на столе, а собака разлеглась рядом, на полу.

Я тут проездом, повторял Херб, но мы уже клюнули на него. Когда мы приходили, он был тут как тут. Я и не замечала, что он за мной наблюдает, пока он не сказал: Вы нервничаете.

Почему женщины превращаются в птиц? — спросила я. Они и есть птицы, ответил он.

Как-как?

Птицы, которые ищут спасения в бегстве.

Это на меня лето действует, оправдывалась я. Летом мне хочется стать ребенком и чтоб без конца тянулись каникулы, хочется пахнуть водой и маслом от солнечных ожогов, бегать босиком и обгореть. Херб слушал.

Старая песня, сказал Томас.

Я устала, да и на работе нынче были неприятности, поэтому я поднялась со стула.

Ты куда? — спросил Томас.

Гулять, ответила я, составишь компанию?

Мы жили тогда на окраине, в нижнем этаже, с правом пользования лужайкой. Томаса никакими силами не заставишь пойти на прогулку. Зато Херб тотчас же встал: Я составлю вам компанию.

Ну так как? — спросила я у Томаса. А ему только того и надо было.

Время близилось к полуночи, воздух еще не остыл, пахло бетонными стенами домов, асфальтом и зноем, которым до сих пор дышала вся улица. Я почти бегом бежала рядом с Хербом, потому что шаги он делал ужасно большие. Когда уличный фонарь светил в спину, тень Херба становилась длинной и тонкой. Он шел к парку, будто знал, куда я хочу.

Мужчины, заметил он, написали лучшие рассказы о женщинах.

Я пожала плечами. Какое мне дело до писателей, если завтра в полседьмого надо вставать и тащиться в контору?

Мы вышли на аллею, под деревья, и я услышала, как скрипит песок у меня под ногами.

Женщины ближе к этому, сказал он.

Ближе? К чему?

К вещам, которые зовутся сверхчувственными.

Мне захотелось вернуться, сесть в нашу машину и рвануть вперед, без оглядки, без возврата. Сил моих нет, ведь лето я вижу только здесь, в этом парке, вечерами после пяти.

Вы знаете Филомелу? — спросил Херб.

Кое-каких женщин я знаю — президента бундестага, кассиршу из супермаркета, ну, еще разве что одну из производственного совета или там из профсоюза.

Херб делал один шаг, а я три, но я не отставала, поскольку терпеть не могу плестись нога за ногу. Моего ответа он как будто бы и не слышал.

Она сделалась немая, сказал он, с той поры, как один мужчина надругался над нею, а потом вместе с сестрой отомстила ему. После долгих преследований их превратили в соловья и ласточку. Вот с того дня Филомела и жалуется.

Нет, вы с Томасом определенно учились в разных школах, сказала я, он таких историй не помнит.

Мы вышли к окраине парка, осталось обойти его по периметру.

Томаса я подцепила среди ярмарочных балаганов, сообщила я, он ничего себе.

Херб рассмеялся; голос его звучал совершенно так же, как днем.

Томас добьется успеха, сказала я, может, и до мастера дойдет.

Он мечтает о другом, заметил Херб.

Я давно собиралась задать ему один вопрос. Но, встречаясь с ним на кухне или глядя, как он сидит под торшером в гостиной, все откладывала. А теперь, когда между парковыми деревьями уже замелькали уличные фонари, на-верстала упущенное.

Откуда вы? — спросила я его. Кто вы? Томас говорил, вы сами за ним увязались.

Спросите у Томаса, обронил Херб, и, когда мы вышли на улицу, я больше не слыхала его шагов. Иных прохожих в это время не было.

Томас засыпал быстро, а мне вот не спалось. Хорошо бы проснуться утром, а о Хербе ни слуху ни духу. Или вечером прийти, а в квартире пусто. Я поделилась этими мыслями с Томасом.

Херб нам не компания, сказала я, у него голова совсем другим занята. И на руки его погляди, кожа гладкая такая, белая.

Херб — человек кабинетный, ответил Томас.

Откуда ты знаешь?

Он мой друг, сказал Томас.

Я не боялась Херба, он только внушал мне неловкость. С тех пор как он у нас жил, Томас каждый раз, когда мне хотелось куда-нибудь пойти, оставался в саду. А со мной отправлял Херба. Херб ходил со мной на плавань, на прогулки, ездил по воскресеньям за город. В дождь мы сидели дома, Томас гладил собаку, я брала на колени кота, а Херб смотрел на нас.

Почему ты его не выставишь? — спросила я Томаса.

Потому что он наш гость. Сам уйдет.

Часто бывая с Хербом, я отбросила робость и начала задавать вопросы.

У вас нет профессии? — полюбопытствовала я однажды, когда мы лежали рядом на горячих камнях возле открытого бассейна. Я к тому, что вы ведь должны где-то работать, чтобы жить. Или вы в отпуске?

Так оно и есть, ответил Херб.

Томас не сетовал, что хозяйство на троих обходится дороже. Я показала ему свои подсчеты. Он даже бровью не повел. От Херба нам прямая выгода, уверял Томас. Мы можем у него поучиться. Он знает, что к чему.

На работе у Томаса в это время все складывалось удачно. Херб называл это успехом. По дороге домой, в машине, Томас рассказал мне, что руководство фирмы предложило ему пойти на курсы повышения квалификации.

Представляешь, говорил он, если я выдержу экзамен, меня переведут в служащие.

Меня слишком занимало то, как бы, отсидев восемь часов в конторе, все ж таки урвать толику летних удовольствий, поэтому я не насторожилась. Когда Томас сказал: этим я обязан Хербу, я его высмеяла.

В июле Хербу наскучило лежать рядом со мной на теплых камнях открытого бассейна и рассказывать истории, о которых я ничегошеньки не знаю. Он приподнялся на локтях и взглянул на меня, заслонив плечами солнце, а ведь после работы, в шесть вечера, мне его и так достается маловато.

Хватит, сказал Херб.

Что?

Он встал и поднял меня.

Послушайте! — возмутилась я.

Конечно, он прав, лето заключается не только в том, чтобы хлебать хлорированную воду и слоняться по ночам в парке, но у меня же есть еще и три недели отпуска. В этом году я хотела провести их вместе с Томасом в Испании. Все давно оплачено, места забронированы. Последние две недели сентября, не так уж и плохо.

Вы попусту тратите время, сказал Херб.

С этого и началось. В пять Херб заехал за мной в контору.

Ты вообще не боишься? — спросила я Томаса. Он готовился к своим курсам.

А что? — отозвался Томас. У нас же все в порядке. Никакой Херб не страшен.

Херб привез меня в Старый город, где воздух дышал зноем и пылью. В это лето там сносили дома, расчищали место для офисов страховых компаний и банков. Вечерами краны, экскаваторы и пневматические молотки не работали.

Что мне здесь делать? — спросила я Херба. Он настаивал, чтобы я влезла вместе с ним на кучу щебня и мусора.

Вы боитесь? — осведомился он и напомнил мне о том, как я десятилетней девочкой лазила в руинах.

Тогда было иначе, сказала я.

Я и сейчас еще чувствую неприятный холодок. Мы с подружкой спускались в подвалы, пахло гнилью, а мы обшаривали темные углы, потому что слышали, будто люди, погибшие в фосфорном огне, съезживались, становились

маленькими, точно куклы.

С Хербом я не полезла. Остановилась на полдороге — обломки под ногами так и ползут — и крикнула ему вдогонку: В конце концов я уже не ребенок! Знаю, что к чему.

Он даже не оглянулся.

Эй! — крикнула я. Псих он, и больше никто. Потому и рассуждает про женщин, которые превращают мужчин в свиней и спят с лебедями.

Прежде чем спуститься в подвал, Херб махнул мне рукой: идите, мол, сюда. Я сложила ладони рупором: Нет уж, без меня!

Херб меня высмеял.

В следующий подвал пришлось лезть и мне. Там пахло сыростью, но не гнилью.

Боги выбрали: себя жен, сказал Херб.

Сперва я решила, ему что-то надо. Но ошиблась.

С меня хватает закона божьего, которым потчевали в школе, ваши-то боги мне на что?

Херб делал меня агрессивной. Хвастается своей просвещенностью, сказала я Томасу. Так и норовит подчеркнуть, что у меня за плечами всего-навсего народная школа. Он что, без этого не может?

Со мной обстоит ничуть не лучше, ответил Томас.

Через неделю я была сыта по горло. С завтрашнего дня я опять хожу в бассейн, объявила я Хербу.

В этот вечер он нашел кошачью мумию.

Рабочие, сносившие дом, оставили ее в углу подвала.

Потрогай, сказал Херб, взял мою руку и прикоснулся ею к кошке. Меня стошнило.

Редкая штука, сказал Херб и своим платком утер мне пот со лба. Потом, положив кошку в валяющуюся тут же коробку, вытащил нас обеих наверх. На улице меня зазнобило, и я села на обломок стены: мне казалось, что больше я ни шагу не смогу сделать. А в следующий миг я расплакалась.

Херб ни разу еще не обнимал меня за плечи.

Ты поймешь, сказал он.

Томас промолчал, услышав, что Херб со мной на «ты». Он, как всегда, скормил собаке бутерброд с колбасой; у меня на коленях громко мурлыкал кот.

В средние века, сообщил Херб, кошек живьем замуровывали в стены, чтоб убереечь новые дома от пожара и злых чар.

Нынче никто в это не поверит, сказала я.

Утром я прочла в газете, в разделе местной хроники, о пропаже кошачьей мумии, найденной рабочими при сносе старой гостиницы. Люди, худо-бедно понимавшие в этом толк, интересовались судьбой кошки.

В пять Херб ждал меня возле конторы, с коробкой под мышкой. Наш автомобиль был припаркован у тротуара. Садись, сказал Херб. Отвезем ее.

Где Томас? — спросила я.

Коробку Херб положил на заднее сиденье.

Он поехал в район, совершенно мне незнакомый — сплошь старинные особняки, — и остановился перед коваными воротами. На латунной табличке я прочла название некоего института.

Что это? — спросила я у Херба.

Адрес, который нам нужен.

Он вышел, поставил коробку у ворот, позвонил, опять сел в машину и, не дожидаясь ответа, тронул ее с места.

Женщины ближе к этим вещам, сказал он.

Куда вы собрались? — спросила я, когда мы выехали на окраину.

Поедем куда глаза глядят, это же твоя летняя мечта.

У меня есть Томас.

Он привез меня на узкое озерцо, где я никогда еще не бывала. Вода была бурая, мутная, словно затянута пленкой, по которой шныряли водомерки.

Войдя за Хербом в воду, я почувствовала, как ноги погружаются в ил.

Не знаю, стоит ли, сказала я.

Почему?

Кругом ни души. Где плавают другие, там я легко ориентируюсь.

Херб заметил, что я научусь.

Потом он лежал рядом со мной на спине, скрестив руки под головой и закрыв глаза.

У меня есть Томас, сказала я.

Почему ты не бросишь работу, если она тебе опротивела? — спросил он. Завела бы детей, занялась хозяй-

ством. Как насчет этого?

Старая пластинка, сказала я. Томас что, поручил вам сделать из меня домашнюю хозяйку? Потому и говорит, что вы за ним увязались?

Он фыркнул, не разжимая губ, только диафрагма — я видела — дернулась вверх-вниз.

Томас хочет детей?

Вынашивать их тебе, ответил Херб.

Все-то вы знаете, сказала я.

Ведьма, сказал он. Голос его изменился, в нем зазвучала нежность, как у Томаса.

Ведьма? — переспросила я.

Этой ночью я проснулась оттого, что хлопнула входная дверь. И разбудила Томаса: Херб ушел.

Томас помотал головой: Не может быть, это против уговора.

Какого уговора? Но Томас уже спал.

Мы бы не встали вовремя, если б Херб не постучал в дверь.

На кухне стояла коробка, в которой он отвозил дохлую кошку, но она была пуста. На столе лежала развернутая газета. Тот институт сгорел.

День выдался душный, а вечером над городом прошли ливневые дожди. На сей раз за мной заехал не Херб, а Томас, и поток машин из центра к предместьям был куда гуще, чем в другие вечера.

Лучше б ты его выставил, предупредила я Томаса.

Херб поджидал нас.

Когда я опять увидела в открытой коробке кошачью мумию, у меня перехватило дыхание. Ни слова не говоря, я взяла коробку под мышку и отнесла на улицу, к мусорным бакам.

Едва стемнело, Херб притащил ее обратно. Уверяя, что мумия имеет какое-то отношение к пожару.

Я его высмеяла: мистикой да злыми чарами никому теперь голову не заморочишь.

Наша собака прямо шалела, пока коробка была в квартире. Стояла перед закрытой кухонной дверью, тыкалась носом в порог и скулила; кот сидел с нею рядом как изваяние.

Херб решил тебе доказать, заметил Томас.

Что доказать?

Что в неподходящих руках мумия приносит несчастье, сказал Херб.

На этот раз Томас пошел с нами. Мы сдали кошку в бюро находок, и Херб ночью из дома не уходил.

Утром он спросил: не подбросите меня в город?

Надо забрать ее с пожарища, объяснил он в машине.

Стало быть, ты привел в дом колдуна, сказала я Томасу. И долго ли так будет продолжаться?

А в чем дело? — сказал Томас. Херб просто больше знает, вот и все.

Он нам сто очков вперед даст, сказала я, вот что страшно.

Я избегала оставаться с Хербом наедине, бросила ходить в бассейн, гулять и ездить по воскресеньям за город. После работы, как узница по камере, сновала по квартире.

Ты раздражена, сказал Херб.

Пусть он оставит меня в покое, сказала я Томасу.

Чем он тебе не потрафил?

Неужели не видишь, что здесь происходит?

Сама я увидела только в середине августа. Меня не настораживало, что вечерами Томас теперь частенько отсутствует. Ходит на эти свои курсы.

Может, придется пожертвовать Испанией, сказал он, нужно довести дело до конца.

Томас честолюбив, сказал Херб, ты знала?

Томас в порядке, ответила я, он, пожалуй, не только до мастера дойдет, а и повыше поднимется.

Ты — вот кто мастерица, сказал Херб в своей путаной манере.

Я привыкла к нему.

Томасово честолюбие важнее Испании — для меня это не вопрос. Зато для Херба очень даже вопрос.

Вы никак в феминисты подались? — спросила я.

А что мне оставалось, раз уж я обо всем знаю? — сказал он.

О чем?

Почему ты меня боишься? — спросил он. Я не позволила обнять себя за плечи. О кошачьей мумии больше не заикалась. Даже не знала, прячет он ее где-нибудь в доме или нет.

Ты мне сто очков вперед дашь, сказал Херб.

В тот самый вечер я обнаружила, что Томас завел себе другую женщину. Я не связывала это с Хербом. Я подумала: с Томасом можно об этом поговорить.

Томас даже не оправдывался. Чего ты хочешь? — спросил он.

Он провел с нею все лето.

Потому и Херб? — спросила я.

Тут не такой сговор, как ты воображаешь.

Ненавижу женщин, которые сразу ударяются в крик.

С нами все в порядке, сказал Томас.

Я заперлась в ванной, и ни один из них в дверь не постучал, но, когда я вышла, в передней стоял Херб.

Он ушел, сказал Херб.

Курсы тоже вранье? — поинтересовалась я.

Херб ответил: Томас не только до мастера дойдет.

В чем дело? — спросил он.

Я покорно вышла с ним из дома. Почему Томас не взял машину? — спросила я.

Мы выехали за город.

Что Филомеле проку от ее жалоб? — спросила я.

Да и сестры у меня нету.

Не волнуйся, сказал Херб.

Тебе это не нужно, сказал он.

Что не нужно?

Он опять заладил, что женщины к этому ближе. Мне было довольно-таки безразлично, о чем он говорил. Главное, он был здесь. И мог мне пригодиться.

Когда вы все это замыслили? — спросила я. Ну, этот отвлекающий маневр?

Чертовщина какая-то.

Главное — ты, сказал Херб, а не я и не Томас. Женщинам не нужно хвататься от ревности за нож или за пузырек с соляной кислотой, не нужно так мстить. Ты хоть раз о себе подумала? У тебя больше власти, чем ты предполагаешь в самых смелых мечтах.

Когда ж это мне думать, ответила я, ведь по восемь часов кряду в ухе торчит наушник от диктофона, а пальцы барабанят по клавишам машинки! Я бы рада заняться чем-нибудь другим, но первым на очереди всегда был Томас. Говорю как есть.

Мы сидели рядом в темной машине, лучи фар бежали по дороге. Приятно было двигаться вперед. У меня вдруг развязался язык.

Неудивительно, сказал Херб, вы же знать не знаете, что в вас заложено.

Что ты имеешь в виду? — спросила я, мне нравилось ехать бок о бок с Хербом через деревни, где даже в тракторах уже погасли огни.

Используй свои способности — и будешь непобедима.

Неудивительно, повторил Херб. Я сама не заметила, как уснула, горизонт к тому времени уже начал светлеть. Когда я проснулась, всюду светило солнце. Не помню, повторил ли Херб в третий раз это свое «неудивительно». И добавил ли: ...что вас придется снова и снова превращать в птиц, а то ведь не спасетесь от погони.

И не мои ли это домыслы.

Херб стоял у входа в деревенский трактир. Улица была еще пустынна, а женщина, открывшая дверь, еще в халате. Херб заговорил с ней. Она глядела мимо него, на машину. Потом Херб спустился с крыльца, открыл дверцу машины, подал мне руку и сказал: Все о'кей.

Женщина отвела нам комнату с душем. И держалась не слишком приветливо.

Лето было в разгаре, и под нашим окном тарахтели трактора с прицепами. В полдень я босиком гуляла по проселку, обгорела и теперь пахла маслом от солнечных ожогов, которым меня намазал Херб. Херб мне нравился, и кое-чему он меня научил.

Я не возражала, пусть называет меня ведьмой.

Домой мы вернулись три дня спустя, Томас, похоже, прекрасно обходился без нас и ни капли не скучал.

А-а, приехали, сказал он. Машина в порядке?

Я прошла на кухню, поискать в холодильнике съестного. Войдя в дом, я хотела погладить собаку, но она попятилась, поджав хвост. Зато кот с меня глаз не сводил.

Херб и Томас сидели в гостиной, смеялись. Томас чувствовал себя отнюдь не плохо.

Прошу, сказала я, приготовив бутерброды с остатками колбасы и сыра.

Меня упрашивать не надо, сказал он.

Наверху в спальне я спросила его: Ты знал, что Херб

и вправду знает? Он понимает в чародействе.

Томас заметил: Образованный. Ну и что?

Он хотел спать, но нельзя же не рассказать ему вот это: Херб говорит, достаточно присвоить хоть кусочек собственности другого человека, чтоб получить над ним власть.

Верь больше, сказал Томас, ты же разумная женщина в конце-то концов.

На следующий вечер я сумела уговорить Томаса познакомиться меня с той, другой.

Мы ведь не дети, сказала я ему, что тут особенного?

Я боялась, Херб соберется уезжать, но нет, он открыл нам дверь. В кухне ждал ужин, кот сидел на столе, а собака разлеглась рядом, на полу.

Встречу с другой назначили на субботу, во второй половине дня. Херб тоже пожелал принять участие. Мы расположились в открытом кафе, под сенью деревьев, и я заметила, что она готова сквозь землю провалиться.

После я сказала Томасу: У тебя неплохой вкус.

Ее звали Моника, и была она немногим моложе меня.

Уж не думаешь ли ты, что я всерьез? — осведомился Томас.

Ты меня одурачил, сказала я.

Когда я позже собралась с Хербом в парк, Томас вдруг начал возражать. Отвел меня в сторону: Теперь можно бы его и выставить.

Я шла рядом с Хербом. Он делал один шаг, а я три и слышала, как скрипит песок у него под ногами.

Ты допускаешь ошибку, сказал Херб, горячишься.

Да в чем дело, сказала я, завладеть ее носовым платком было проще простого.

Он рассмеялся. Ты что смеешься?

Не забывай, сказал он, ты не единственная, кто наделен этой властью.

Херб решил задержаться еще на день.

В воскресенье утром мы вынесли кошачью мумию на лужайку, которой дозволено пользоваться жильцам нижнего этажа. Весь дом еще спал. Херб положил кошку в цинковый гроб со стеклянной крышкой. Мы закопали ее так, что она лежала возле террасы как в витрине.

Томас обнаружил ее после завтрака.

Ну что это такое? — спросил он. Неужели ты веришь

Хербовым рассказням?

Верю, ответила я. У нас есть способности, какие тебе и во сне не снились.

Впервые он разорался. Потребовал лопату, но она куда-то запропастилась.

Херб сказал: Пора.

Между прочим, рывкнул Томас, ты заодно с моей женой!

Попрощались натянуто. Я отвезла Херба на вокзал. Сели он в поезд, не знаю.

Был конец августа, кое-где на мостовой желтели опавшие листья.

Скоро осень, сказала я Томасу. Он злился на меня из-за мумии.

Ну что это такое? Зачем Херб это сделал? Что, по-твоему, скажет хозяин? — вопрошал он.

Херб говорит, ей как минимум триста лет, ценная штука. В средние века кошек живьем замуровывали в стены, чтоб убереечь дом от пожара и злых чар.

Тогда уж давай ее сразу в гостиную вместо картины или дорогой безделушки!

Нет, здесь, возле террасы, как раз мое место, ответила я. Херб говорит, она вредит только тем, кто в нее не верит.

В понедельник Томас как будто забыл про кошку. Мы опять сами приготовили завтрак, заперли квартиру и поехали на работу.

Ну, до пяти, сказал Томас и поехал прочь, а я проводила его взглядом.

У него не было привычки звонить мне в контору.

И если он звонил, значит, по важному делу.

Что случилось? — спросила я.

Она попала в аварию, растерянно сказал он.

Он имел в виду Монику.

Что, скверно? — спросила я.

Не знаю, ответил он, это произошло сегодня утром. Мне надо в больницу. Ты ведь понимаешь?

О чем разговор, сказала я, у нас же все тип-топ. Никакая Моника не страшна.

Может, доберешься до дома на автобусе, а?

Конечно.

Дома я забрала себе один из его галстуков.

Когда через неделю Томас заболел, я не удивилась. Он

опять нуждался во мне.

Каждую осень у тебя грипп, сказала я.

Я записывала температуру, утром и вечером. Он любил, когда я о нем беспокоилась. Я часто сидела у его постели, держала его за руку и вытирала пот со лба.

Как приятно, говорил он. Лоб пылал от жара.

Однажды я спросила: Откуда ты знаешь Херба?

Томас не смог припомнить никакого Херба.

Он сам за тобой увязался, сказала я.

Увязаться может собака или кошка, но не человек, неловко пошутил он.

Вообще-то, сказала я, я тоже ничего такого не слыхала.

Странная история — чем дольше я о ней размышляю. Кошачья мумия до сих пор зарыта возле террасы. Наша собака часами лежит рядом с тем местом. Иногда скулит.

А я пугаюсь, замечая, что кот не сводит с меня глаз, точно синицу караулит.

Мне приходят на ум слова Херба: Не используя то, что в них заложено, женщины превращаются в птиц, которые ищут спасения в бегстве.

Из истории одного семейства

Когда Ирена ждала первого ребенка, ее муж, храбрый Хайнц Келлер, залег в окопах под Сталинградом.

Родился сын.

Хайнц Келлер женился в двадцать восемь, Ирене тогда было двадцать пять.

Он пережил Сталинград.

Через восемь лет после войны новое государство определило его на должность прокурора.

Ему повезло: он вернулся.

В 1950-м появился второй ребенок, девочка.

Так началось время совместной, спокойной жизни с детьми.

Потом сын стал изучать право.
Дочь вышла замуж.
Сын выдержал государственные экзамены.
Дочка родила.
Сын женился.

Совместная жизнь с детьми стала невозможной.
Поэтому Хайнц и Ирена решили переехать в трехкомнатную квартиру в новом районе.

Как раз тогда невестка обшила столовую тиковым деревом.

Сын поступил на службу.

Пошел по стопам отца.

Отец жил как полагается и сумел неплохо заработать.

Теперь Ирена обставляла квартиру в новом доме-башне. Она тоже обшила ее тиковым деревом. Зато спальный гарнитур намного роскошнее, чем у невестки.

Хайнц в свое время получил образование в классической гимназии.

Теперь сын подарил им внука.

Внук станет достойным продолжателем рода Келлер.

Род не вымрет.

Вот уже скоро пять лет, как Хайнц и Ирена переселились в новый район.

Сыну исполнилось двадцать девять.

Дочери — двадцать.

Ирена сетует: «Она слишком рано вышла замуж».

Ирена любит своих детей не меньше, чем безделушки, выставленные в горке.

Время детей миновало.

Ирена всегда была образцовой женой.

Супруги занимают трехкомнатную квартиру на восьмом этаже — с ванной, кухней и лоджией.

Раз в неделю Ирена отправляется в город за покупками.

Кроме всего прочего, она покупает кукол.

Кукол?

Соседки уважают Ирену.

В жизни Хайнца после войны не произошло ничего непредвиденного.

Сталинград вспоминается редко.

Только летом, когда приходится ходить с голыми ногами, на них видны рубцы — следы голодных отеков.

Другие вообще лишились ног.

Это радует Келлера.

Жителей нового микрорайона легко пересчитать по количеству окон.

По именованным табличкам на дверях.

Шесть квартир на каждом этаже.

Четырнадцать этажей.

Плоская крыша.

Можно посчитать и по большим балконам-лоджиям.

Ирена проводит время с куклами, ведь детей уже нет рядом.

Она приговаривает:

Я и ты. Ты и я.

Дружная семья...

Восемьдесят четыре семьи в одном доме.

Десять строений, расположенных на берегу искусственного озера. Купаться запрещается.

Восемьсот сорок семей.

Тридцать лет тому назад Ирена знала такие ночи, когда беспрепятственно вывозили куда-то людей, живших по соседству. При этом она ни о чем дурном не задумывалась.

Хайнц тогда был далеко.

Он говорит: «Мера всех вещей — человек».

Ирена не приемлет жестокости.

Она ведь только калечит кукол да еще организует вокруг себя соседок. Иначе ей стало бы скучно.

Ведь она и теперь ни о чем дурном не задумывается, отрывая куклам руки-ноги...

В первые послевоенные годы, до тех пор пока не вернулся муж, она существовала, зарабатывая шитьем. Шитьем кукол.

Хайнц теперь не может себе даже представить, что когда-то был под Сталинградом.

Это не страх смерти.

Скорее страх перед жестокостью, которой он там подвергался.

Супруги стремятся видеть в человеке доброе начало.

Ирена не сумела бы толком объяснить, почему она от-

рывает куклам головы.

Келлеры предпочитают приятные проявления жизни. Нормальный человек, говорит Хайнц, не в состоянии истязать другого.

Он знает это по опыту.

Тот, кто вырос в нормальной обстановке, не предрасположен к жестокости.

Его жена придерживается того же мнения и прячет разорванных на части кукол в коробку, которая стоит в столовой.

Она обнимает голое туловище куклы. Двумя пальцами проводит по ее животу, пока тот не распарывается.

У нее нежные руки.

Она с детства любила кукол и долго их хранила, даже когда они становились совсем старыми.

Из окна видно, что задержавшиеся позже других мамы с колясками на противоположном берегу озера наконец отправляются по домам.

Давай сегодня вечером посидим на балконе, предлагает Хайнц.

Надо подумать об отдыхе, подхватывает Ирена. Ведь весной мы всегда обсуждаем планы на лето.

Она готовит ужин на кухне. Он накрывает стол на балконе.

Хороший муж.

По вечерам они пьют чай или яблочный сок. Сок заказывают ящиками.

Супруги раскладывают на столе проспекты.

Ирена разворачивает гляцевитую бумагу и обеими руками перебирает пестрые рекламные картинки.

Поедем на курорт, поваляемся на пляже, предлагает она, пожилая женщина.

Можно осмотреть Помпею, предлагает он.

Они достают из ящика совсем новенький на вид диаскоп пятнадцатилетней давности, чтобы полюбоваться на радостные лица своих детей.

Ирена всегда улыбается, когда ее фотографируют.

Раз уж мы отправляемся в путешествие, мне необходимо новое платье, заявляет она.

Ее свадебный наряд до сих пор хранится в шкафу.

Двумя пальцами она проводит по лысой голове мужа, задумывается и восклицает: «Какие у тебя были волосы!»

У нее нежные пальцы.

Как ты можешь быть такой жестокой, упрекает муж, и напоминать мне о том, что я уже облысел.

Разве я жестокая? — удивляется жена и начинает прилежно поливать цветы, растущие в ящиках на балконе.

Воды она не жалеет.

Остальные соседки тоже вышли на балконы и приветливо кивают друг другу.

Все они пребывают в полной уверенности, что и десять лет спустя будут все так же ухаживать за своей геранью.

Замечательные соседки, и цветы у них прекрасные.

В определенный, заранее оговариваемый день все собираются в одной из квартир на восьмом этаже.

О чем-то беседуют.

О чем-то рассказывают.

Справляют годовщины свадеб и дни рождения.

Иногда читают вслух.

Например — Фонтане.

Образованные женщины.

За кофе обсуждают «Будденброков» Томаса Манна. «Будденброкам» посвящено целых три месяца.

В квартиру на третьем этаже въехала новая семья. Однажды новая соседка поднялась на восьмой этаж — к дамам.

Я бываю свободна только вечером после работы, объясняет она.

Жаль, что вы не сможете приходить к нам в послеобеденные часы, сетует Ирена.

Ирена дотошно расспрашивает новоселку, и та рассказывает, что трудится на кукольной фабрике.

В такие дома, как наш, жалуются друг другу соседки с восьмого этажа, кто только не вселяется. В этих новых районах живут все без разбора.

Следует уклоняться от подобных контактов.

И они дружно приходят к решению — никогда не принимать женщину с третьего этажа.

Подобные людишки просто созданы для работы на фабрике — выносят они приговор.

И вот однажды Хайнц открывает большую коробку в столовой и обнаруживает в ней кукол, разорванных на части.

Ирена — прекрасная жена.

К счастью, куклы не ощущают боли.

И Хайнц Келлер успокаивается.

Летом они поедут в Грецию.

На фотографиях, отснятых там, Ирена будет все так же постоянно улыбаться.

Пойдут воспоминания о Крите, об Акрополе.

Мера всех вещей — человек.

Иногда в руки им попадают газеты с сообщениями о греческих тюрьмах.

Однако Ирену больше всего интересует греческая королева.

В свидетельства очевидцев, повествующих о пытках, они не очень-то вникают.

Я не интересуюсь политической обстановкой в стране, где собираюсь отдохнуть, провозглашает Келлер.

А Ирена, поливая цветы на балконе, с пристрастием допрашивает мужа, какие формы жестокости ему известны.

Он прихлебывает из стакана яблочный сок.

Есть супруги, которые дерутся между собой, замечает Ирена и обрывает вялый лист герани.

Если нет дождя, по вечерам они сидят на балконе и читают письма от сына и дочери, прибывающие регулярно, каждую неделю.

Жестокость — это абсурд, возвещает супруг.

Он, к примеру, никогда и руку на своих детей не поднял, а малышке внучке ко дню рождения они обязательно пошлют куклу, выговаривающую целых восемь фраз.

Ирена тянет за шнурок, прикрепленный к кукольной шее...

«Я всегда буду послушной», — произносит магнитофонный голос.

Кукла одета очень опрятно.

Соседка с третьего этажа аккуратно сшила ее из обрывков нейлоновыми нитками.

«Хочу спать», — говорит кукла.

Дамы в восхищении.

Просто так вышло, что Ирена случайно повстречалась с соседкой с третьего этажа на лестнице и спросила, не делают ли они на фабрике говорящих кукол.

Я как раз вставляю говорящее устройство, работаю сдельно, ответила женщина.

Ирена держит в руках кукольное тулово. Руки-ноги повисли на резинках. Голова отсутствует.

Ирена нащупывает говорящее устройство и вытаскивает его из кукольного живота.

Торс откладывает в сторону.

Через три недели Келлеры отправляются в Грецию. В приходо-расходную книгу записывается сумма, предназначенная на путешествие.

В большой сумке для покупок Ирена притаскивает домой еще одну куклу.

Зачем она тебе? — интересуется муж.

Она мне так понравилась, отвечает жена и тянет за шнурок у куклы на затылке.

«Поиграй со мной», — скрипит магнитофонный голос.

По-моему, тебе не по возрасту играть в куклы, шутит муж.

В тот вечер у Ирены замечательное настроение, она так разыгралась с куклой, что забыла полить герань.

Соседки тоже приобретают кукол.

Делая вид, что те предназначены для внучат, в том числе и для тех, которые еще не появились на свет.

Она вставляет куклам говорящее устройство, поведала дамам Ирена, и соседка с третьего этажа невероятно выросла в их глазах. Однако сама она никак не может взять в толк, чего же от нее добиваются, повторяя: «Что я вам должна рассказывать, просто я делаю свое дело».

Она вставляет магнитофоны тридцати куклам в час.

Разочарованное и неудовлетворенное общество вынуждено вернуться к заведенному порядку. А что им еще остается, как не отмечать даты свадеб да дни рождения!

Таким образом, Ирена умело управляла подругами, формируя их интересы, пробуждая страсть к исследованию кукольных частей тела.

Разбирать кукол — это не жестокость, убеждала она

приятельниц.

Конечно, соглашались те. Вот другие, например, охотятся на зайцев. Это дело кровавое, жестокое.

А пластмасса не взывает о помощи.

Шестеро подруг в течение часа разбирают на части тридцать кукол. Оторванные куски спускаются в мусоропровод на лестничной площадке.

В воскресные вечера Келлеры обычно совершают прогулку вокруг озера.

Дорожка, выложенная гравием, всегда аккуратно подметена. Купаться в озере запрещается.

Левой рукой Ирена берет под руку Хайнца, в правой у нее — сумочка.

Хайнц Келлер не замечает жестокости, проступающей сквозь улыбку жены на всех цветных фото.

Она из хорошей семьи.

А ты кто? — спрашивает она кукольную голову, которую крутит в руках.

Дамы всегда готовы оказать содействие.

Они приступают к делу при помощи ножей и вилок.

Только, пожалуйста, спохватывается Ирена, только не обычными приборами, сейчас я достану свое серебро.

Хозяйка раздает гостям салфетки из тончайшей ткани.

Еще кусочек? — осведомляется одна из гостей у другой.

Нож в правой, вилка в левой руке, салфетки аккуратно расстелены на коленях, все усердно работают: колют и режут.

В день отъезда в Грецию как раз исполняется пять лет с тех пор, как Келлеры переселились в новый дом.

Чемоданы упакованы и стоят наготове в прихожей.

Крит и Акрополь.

Ирена все предусмотрела, не забыла и о провизии на дорогу, захватила бананы, яйца вкрутую, апельсины и бутерброды. Ведь буквально через час пути в поезде захочется перекусить.

Ирена хорошая жена.

Супруги заказали такси до вокзала.

Новое платье тебе к лицу, говорит муж.

Двумя пальцами жена проводит по его лысине.
Как ты можешь быть такой жестокой?
Разве я жестокая?

Усевшись в такси, они вдруг замечают, что в подъезде что-то загорелось. Кто-то уже успел вызвать пожарную машину.

Площадку поливают из шланга.

Восемьдесят четыре семьи толпятся у озера.

А в это время оставшиеся пятеро соседак с восьмого этажа прилежно поливают свою герань.

Газеты сообщили о пожаре. Кто-то облил бензином кукольные обрывки, сложенные рядом с одной из квартир, и поджёг.

Женщина, вставлявшая говорящее устройство тридцати куклам в час, отделалась легкими ожогами.

Хайнц Келлер заявил: тот, кто уродует кукол, способен истязать и людей.

Для Ирены Келлер пора игр в куклы миновала.

Она любит повторять: «Мера всех вещей — человек» — и мечтает получить в подарок на рождество учебник по анатомии.

Пересменка

Ветер задувал в дверь: пришлось придержать ее рукой. Лиза повесила свое темное зимнее пальто на вешалку. Уселась за круглый стол. Мужчина у стойки приготовил чистую чашку из грубого фарфора. Открыв краник кофейного автомата, он наполнил чашку и, поставив ее на ладонь, протянул Лизе. Заодно подал и сливки.

Сирена на шоколадной фабрике напротив оповестила о конце смены. Следующая начнется через четверть часа.

Снег еще не весь растаял и лежит клочками на тротуаре, в воздухе еще чувствуется зимняя промозглость, а фабрика уже готовит изделия к Пасхе: шоколадные конфеты с на-

чинкой, пасхальные яйца, фигурный шоколад — в общем, все что полагается.

Лиза работает на сортировке: откладывает в сторону брак. Через пятнадцать минут ей вставать к конвейеру.

Дверь распахнулась. Внутрь хлынул народ, отработавший смену. Потолки в кафе низкие, и столы низенькие, выкрашенные черной краской. Лиза поднесла кофе к губам: слишком горячий. Тогда она взяла чашку обеими руками. Сделав пару глотков, подержала кофе на языке. Он крепкий. Горький, без молока и без сахара. Кафе, набитое до отказа, наполнилось шоколадным запахом, принесенным с фабрики.

К Лизе подсела женщина. Большая, дородная. Светло-рыжая, в веснушках.

— Ты с фабрики? — обращается она к Лизе каким-то металлическим голосом.

— Да, — отвечает та, — через четверть часа заступаю.

Женщина вынимает сверток из своей кожаной сумки. Развертывает. Вытаскивает бутерброд. Скомкав засаленную бумагу, кладет ее на стол рядом с собой. У нее хорошие, крепкие зубы. Она откусывает большой кусок.

— А я на сегодня свободна. Как приду домой, сразу спать лягу.

Между ломтиками хлеба виден красный колбасный язычок. Лиза наблюдает, как женщина работает челюстями.

— У тебя дети есть? — продолжает она с набитым ртом.

— Четверо, — отвечает Лиза.

— Четверо? — удивляется соседка по столу, — как тебе удалось? Ведь, наверное, и тридцати-то нет.

— Я рано вышла замуж.

— А заработка мужа, конечно, не хватает. Да, четверых прокормить нелегко.

— Работа тяжелая, — говорит Лиза, — но я вынуждена это делать из-за детей.

Женщина откусывает еще кусок.

— У меня было то же самое. Но теперь дети выросли. А я все-таки работаю. Скоро двадцать лет. И каждый день этот шоколад...

Лиза кивает, допивая кофе.

— Я работаю у конвейера, на сортировке.

Лицо у Лизы худое, за зиму совсем побледневшее. Глаза близко посаженные. Над невысоким лбом — темная прядь волос, свисающая до самой шеи.

— Работаю уже три года,— продолжает она,— с тех пор, как старшая подросла достаточно для того, чтобы смотреть за остальными детьми. Все только из-за ребят.

Толстушка засовывает в рот последний кусочек хлеба и, непрерывно жуя, заявляет:

— А мне работа по вкусу. Сейчас, к примеру, посыпаю шоколадки. Всегда ведь чего-нибудь перепадет.

Лиза смеется. Смеется громко.

— А я просто видеть больше не могу этот шоколад. Все только ради детей.

На засаленный комок бумаги садится муха. Еще молодая мушка. Наверное, только что вылупившаяся в тепле кафе. Рановато она вылезла на свет. Ползает по бумаге в поисках крошек. Потом начинает умыться передними лапками. Сидит тихо. Совсем маленькая и чистенькая. Наконец взлетает, пропадает в полумраке под низким потолком. Окошки в кафе маленькие, освещение скудное.

— Ради детей,— повторяет рыжая и улыбается Лизе.— Тебе не пора?

Лиза кивает. Теперь муха уселась на край чашки. Лиза делает последний глоток. Муха перелетает на скатерть. Лиза медленно, осторожно замахивается. Ударив по столу ладонью, прихлопывает муху.

Катрин

Я родила ему детей. Я приспособилась к обстоятельствам. Я научилась глядеть на него так, как мама моя глядела когда-то на мужа. Я замечательно умею стирать пеленки, быстро утешаю детей и поддерживаю образцовый порядок в доме.

Когда-то я учила математику и латынь, французский и физику. Я была средней ученицей. Ему позволено было

© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1976

ласкать меня, но и бить тоже. Как-то я попробовала дать сдачи; вот тут-то я и убедилась, что он сильнее.

Я наблюдала, как во время беременности раздается мое тело. Я терпеливо перенесла роды; на то ты и женщина, говорила я себе. Я убеждала себя, что счастлива. Провожала его на работу, готовила еду.

Я видела, как он испугался, когда у меня начался жар и температура никак не хотела падать; я видела, как раздражал его плач ребенка.

Я не посмела возразить, когда он отправил домой маму, ему не нравилось, что в тесной однокомнатной квартирке она сушила пеленки перед печкой, а молоко остужала на подоконнике. Я усвоила, что только он имеет право голоса: представь, что подумают о нас люди? Этого я не знала. Но с самой мыслью свыклась.

Я постоянно спрашивала, чем он недоволен. Я научилась молча выслушивать; первой здоровалась с его шефом, радушно принимала его коллег.

С благодарным видом выслушивала поучения его матери. Держалась подчеркнуто дружелюбно. Я узнавала его привычки и вкусы. Старалась им соответствовать. Я позволяла свекрови поучать, как надо воспитывать детей. И я научила детей говорить «спасибо» и «пожалуйста», кланяться и вежливо приседать, красиво подавать ручку и петь рождественские песенки. Я хорошо изучила ее сына. Временами мне делалось страшно.

Я старалась быть всепонимающей, терпимой. Искала во всем собственную вину. Как мне хотелось, чтоб он был для меня еще и вроде старшего брата. Но об этом я ему никогда не говорила.

Зато говорила, как я его люблю. Я училась быть нежной; заслоняла детей, когда он был во гневе. Я усвоила, что он имеет право на гнев. Я даже научилась оправдывать его. В отчаяние я не впадала. Я убеждала себя, что счастлива.

И я действительно была счастлива, когда он обнимал меня, будучи в хорошем настроении. Я научилась утешать его, научилась подбадривать. Я всегда мечтала, чтобы муж у меня был ласковый. Иногда я рыдала в своих четырех стенах. Я узнала, что депрессия — это болезнь. Я чувствовала себя одинокой. Пыталась приободриться. Замечала, что руки у меня все больше становятся похожи

на материнские. Пыталась убедить себя, что каждодневные стычки с мужем никак не сказываются на моей любви. Я не задавала себе лишних вопросов.

Начало мы преодолели. Я научилась справляться с его ночными кошмарами. Будила, когда во сне он кричал, говорила: не бойся, это я. Он принимался рассказывать мне свой сон. Я выслушивала. Училась быть еще и сестрой милосердия. Соглашалась, будто во мне есть что-то общее с его матерью. Я верила, что должна быть теплой, мягкой, как только что родившая детенышей самка, верила, что должна быть медведицей в своей берлоге. Я любила наших детей. Вот мое прибежище, думала я. Мне хотелось отдать им все, что имею, но этого я не смогла. И чувствовала угрызения совести.

Мне казалось, что со временем, когда мы станем старше и спокойнее, все утрясется. Я осознала, что мужчину уже не изменишь. И я не пыталась.

Я начала забывать латынь и высшую математику.

Я подбадривала его, когда он лишился работы. Я научилась хорошо упаковывать вещи при переездах, обставляться и устраиваться на новом месте, обходиться теми деньгами, которые есть. На своих плечах я вынесла болезни детей. Когда-то мне снились сны.

Я принимала таблетки от головной боли и от бессонницы, от болей в спине, от малокровия. Иногда во сне я бродила по дому.

Я научилась возражать, вести позиционные бои. Я отказывалась подчиняться, я просто с ним не разговаривала. Я злилась, когда начинал злиться он. Мне хотелось, чтобы дети быстрее выросли.

Я сдалась, я перерезала себе вены, но я не хотела умирать. Я позволила ему перевязать раны, вызвать врача и изобрести какой-нибудь невероятный несчастный случай. Я надеялась, хоть врач спросит меня, что произошло.

Я спросила себя сама.

Это мы пережили. На праздники я желала ему успехов по службе. Вела изнурительную борьбу за два места в садике, осыпала старшую воспитательницу бесконечными подношениями. Я принимала противозачаточные таблетки. Убеждала себя, что больше мне нечего бояться. От собственных чувств я была теперь защищена, здесь я провела

границу. Больше я никому не позволю ранить мне душу.

Я научилась печатать на машинке, освоила стенографию. Я поступила на работу. Мне хотелось заново поверить в себя. Я приносила в дом деньги. На рождество у меня случился гипертонический криз.

Из-за детей я работала неполный рабочий день.

Теперь мы могли позволить себе поехать в отпуск, покупали новые вещи. Мы выбились на поверхность. Я не считалась со временем. Себе я сказала: ничего, и от девяносточасовой рабочей недели ты не помрешь.

Я не отказалась от своих надежд, я просто их растеряла.

Мы построили дом; мы послали детей в гимназию. Стали членами родительского совета. Мы отстаивали свои права там, где видели им реальную угрозу. Мы избегали вспоминать прошлое. Я как-то приспособилась, научилась укрощать собственный темперамент. Не опустилась. Я заново выучила латынь и математику вместе с детьми.

Я не переставала убеждать себя, что счастлива. И была упорна. Немного счастья для себя я все же сберегла. Нашу дочь я воспитала в духе протеста.

Вчера я встретила дочь в обществе молодого человека. Я сказала об этом ему. И добавила: она больше твоя дочь, чем моя. Про себя я подумала, не лучший ли это для нее вариант.

Но в снах своих ты размышлял

Вот миг моего рождения — глядя на этот город, я понял его. Понял эту систему мнимо счастливой безнадежности.

Я рождаюсь, мне определяют место в системе, распоряжаются мною, делают меня объектом сбыта, таким образом, с самого рождения я — компонент их плана, легко управляем и не властен над собой.

Но до поры до времени меня нет.

До поры до времени Болар — просто Болар.

Изредка он утешает самоубийц, которые пытаются проникнуть в бактериальный корпус, чтобы схватить там заразу.

Например, Джэла.

Болар едва успел занять свое место в контрольной кабине, как появился Джэл.

Я до поры до времени молчу; и пока микрофон у Болара отключен, стеклянная кабина наглухо изолирует его от внешнего мира.

Он наблюдает за приемником и за теми, кто туда входит.

По большей части, открыв стальную дверь и снова закрыв ее за собой, они через несколько шагов останавливаются, глядят по сторонам, обнаруживают Болара и медлят в замешательстве. Им нужно пересечь приемник и открыть вторую дверь, напротив входа, она-то и ведет непосредственно в крановый цех, куда подаются отбросы. Два крана подхватывают отбросы своими грейферами и ссыпают в колодцы, там все это проходит автоматическую сортировку и наконец поступает в подземные бункера, где за работу берутся бактерии, уничтожающие органику.

Я знаю эти бункера. Низкие длинные помещения, облицованные белым кафелем, освещенные неоновыми лампами, оборудованные телекамерами и роботами-манипуляторами, которые разбирают отходы. Смертоносная жизнь и зловоние этого города.

Подземные бункера герметизированы, но бактерии все же нет-нет да и проникают в крановый цех. Доставщики болезней и смерти.

Риск очень велик.

Джэл медлит.

Болар включает динамик.

Что вам здесь нужно? — спрашивает он.

Меня зовут Джэл.

Болар решает, что запирать воздушный шлюз на электронный замок нет надобности, ведь Джэл не просто медлит, Джэл колеблется. Он, наверное, придет к Болару в аппаратную, а Болар оповестит Психиатрический Отдел МПФ — мусороперерабатывающей фабрики. Они заберут Джэла, станут лечить. Болар знает их приемы, но на себе лечения не испытывал.

У него на глазах эти самоубийцы входят в стальную

дверь, медлят, он через динамик вступает с ними в беседу и уговаривает иной раз вплоть до появления команды из Психиатрического.

Бывает и иначе: они без колебаний идут через приемник. Голос Болара, раздающийся из динамика, их не впечатляет. С этими все кончено. Нажав кнопку на пульте, Болар блокирует дверь шлюза. Некоторые пытаются открыть ее силой. Как безумные.

Болару это известно. Он просит их убрать.

Я наблюдал за ними. Все они знают, что до сих пор посторонние в цех не проникали. Туда допускаются одни только крановщики. А их перед зачислением на работу тщательно проверили. Люди они высокооплачиваемые, всем довольные.

Сам Болар проходил психотест десять лет назад. Ему положено быть еще благонадежнее крановщиков. Он в ответе за приемник. Болар мог бы весь город инфицировать. Но за Боларом тоже наблюдают. И тот, кто наблюдает за ним, опять-таки находится под контролем.

Я испытываю Болара.

Джэл совсем ребенок — вот что видит Болар.

Сколько тебе лет? — спрашивает он.

Четырнадцать, отвечает Джэл.

Болар оповещает Психиатрический Отдел. Они приедут на лифте.

Что с тобой? — спрашивает Болар.

Он начинает уговаривать, увещевать. Я-то знаю: за утешения Болару не платят. Он утешает по своей охоте, и никто пока ему за это не выговаривал.

Болар увещевает: Тебе только кажется, что все кончено. Вот теперь я начинаю.

Джэл пожимает плечами. Ожидал-то он другого, думает Болар, а ведь возможностей покончить с собой стало крайне мало. Город застраховался от самоубийственных помыслов граждан, и вокруг МПФ с ее бактериальными бункерами уже создан миф: те, кто приходит сюда, ищут смерти-утопии.

Ни один ее не обрел, говорит Болар.

Джэл кивает.

Я так и предполагал.

Ты же не рассчитывал в самом деле пройти воздушный шлюз? У каждого бывают свои сложности, но любой ребенок, рожденный здесь, в нашем городе, запланирован.

Ты тоже.

Эти планы так просто не перечеркнешь. Из детей, замечает Болар, ты пришел сюда первый, я еще никогда не утешал детей.

Болар в растерянности.

Некоторые плачут, я — нет.

Джэл дышит ровно. Он стоит теперь в стеклянной кабине, лицом к лицу с Боларом, прислонился к одному из пультов, руки опустил. Вначале он с любопытством изучал разноцветные кнопки. Определенный цвет знаменует определенную функцию.

У тебя что-нибудь случилось? — спрашивает Болар.

Нет, не случилось.

Джэл видит, как за стеклянной кабиной раздвигается стена. Двое мужчин выходят из лифта, направляются к Джэлу.

Ты не бойся, успокаивает Болар, они тебе помогут.

Другие в эту минуту всегда кричат, и Болар похлопывает их по плечу или гладит по голове, а после думает, что хоть немного их утешил, но Джэл, похоже, подчинится без звука.

Болар смущен.

Я не боюсь, говорит Джэл.

Болар видит, как они идут к лифту.

Джэл! — окликает он через динамик.

Стена сдвигается.

На мониторах в своей кабине Болар наблюдает, как работают крановщики. Они молча сидят в своих капсулах, следят за автоматикой. Если возникает неполадка, докладывают через микрофон Болару. Именно Болар ежедневно подсчитывает их выработку, суммирует общее количество мусора и вычитает все то, что на транспортерах переправлено через колодцы в бункера. Смена длится пять часов, затем Болар и его крановщики уступают место следующей тройке.

В стальной камере крановщики снимают зеленые защитные костюмы, проходят дезинфекцию и через воздушный

шлюз попадают в приемник, меж тем как крановщики новой смены из воздушного шлюза попадают в стальную камеру, надевают новые защитные костюмы и идут к кранам.

К этому времени Болара в приемнике уже нет. Крановщики Боларовой смены ни разу его не видели. Они знают его только по голосу.

Я знаю Болара, но Болар меня не знает.

Утром, войдя через стальную дверь в приемник, он сменяет Томкена. Томкен покидает стеклянную кабину, как только к ней приблизится Болар. Проходя мимо друг друга, они здороваются.

Затем Болар, как правило, спокойно сидит перед контрольной аппаратурой. Сегодня вспыхивает желтая кнопка Психиатрического Отдела. До сих пор Болар сам выходил с ними на связь, они ищут контакта с ним впервые. Это его тревожит и вызывает любопытство. Он включает переговорник, ждет, что будет.

Вот в чем дело — Джэл.

Что вы такое внушали мальчишке? — спрашивают у Болара.

Он защищается.

Нам известно, что вы ведете с этими людьми беседы. Что вы наговорили Джэлу? Наше лечение на него не действует. Он не поддается.

Я спросил, как его зовут, оправдывается Болар, и сколько ему лет.

Больше я ничего не говорил.

Но голос из динамика упорно стоит на своем: Мальчишка находится под вашим влиянием, и, видимо, вы до сих пор в контакте, а то бы он уже подчинился.

Болар протестует.

Джэл сопротивляется, а мы знаем, за ним стоит целая группа людей. Вы связник этой группы?

Болар отрицает. Он уже побаивается. Говорит, что знать не знает ни о какой группе.

Пока Джэл не подчинится, нам не стереть из его памяти мысли, приведшие его в цех.

Кто он такой, этот Джэл?

Болар не знает.

Джэл не зарегистрирован в городской ЭВМ, а значит,

просто не вправе существовать.

Непонятно отчего, но Болару вдруг становится страшно за мальчугана.

Что вы с ним сделали? — спрашивает Болар.

Голос, проникающий к нему через динамик, интересуется: Уж не страшно ли вам?

Потом они приезжают, на лифте. Болар знает их приемы, но не испытывал их на себе. Он всегда лишь наблюдал со стороны.

Он не упирается, только говорит: Мониторы, их нельзя оставить без присмотра, таково предписание. Но сменщик уже открыл стальную дверь, входит в приемник, идет навстречу Болару, не здоровается. Болар может покинуть пост.

Где Джэл? — спрашивает он.

Его доставляют на верхний этаж. Тяжелые двойные двери замыкаются за Боларом. Другие мужчины в белых защитных костюмах ведут его дальше, глаза их спрятаны под коричневыми светофильтрами.

Он запоминает помещения, по которым идет, кабинеты электрошока и гипноза, лаборатории и операционные.

Теперь он вправду боится за мальчугана.

Где Джэл? — спрашивает он.

Где Джэл?

Я вижу, вот они входят сюда.

Болара пристегивают ремнями к врачебному креслу, опрокидывают его назад, почти в лежачее положение, подсоединяют к рукам и ногам электроды. Готовят к лечебным процедурам.

Джэл упирался.

Информацию о Боларе они вызывают из своих карточек — из картотеки городской администрации и из картотеки самой МПФ.

Говорят: Всего-навсего тест.

Они тебя проверят. Им надо узнать, представляешь ли ты хоть какую-то опасность для системы. Надо выяснить, способен ли ты соприкоснуться с бактериями, чтобы затем распространить заразу на весь город.

На тебе ответственность.

Теперь ты ответишь и за Джэла.

Им надо пресечь твой с ним контакт, чтобы мальчишка лишился опоры, чтобы они смогли вычистить Джэлу память.

И вычистить Джэла из твоей памяти.

Но ты ведь не знаешь Джэла. Ты видел его мельком. Всего-навсего тест, говорят они.

Телесных повреждений тебе не нанесут. Ты ничего не почувствуешь. Своего рода гипноз.

Только твое «я» будет в их власти. Твое «я».

Болару хочется кричать.

До сих пор никто не выговаривал мне за то, что я утешаю самоубийц. Я делал это бесплатно.

Чем я виноват, что их забирают?

Вспомни: Ты их всех выдал. Ни один из тех, кого ты якобы старался утешить, не миновал Психиатрического Отдела и его аппаратов. Ты исполнял свой долг. Даже отчаяние не спасало их от этого.

Взять, например, Джэла.

Он навлек на тебя подозрение. До сих пор твоих утешений в расчет не принимали. Теперь же полагают, что уже сам факт утешения может стать источником противоречия.

Болар чувствует первые импульсы тока. Электрическая цепь замкнута.

Джэл медлит, а ты чуть ли не готов поверить, будто знаешь и этого мальчугана, и его помыслы.

Ты видишь: Джэл еще ребенок, совсем недавно вышел из-под родительской опеки. Объясняешь ему, что в этом городе значит быть ребенком. Только рождается, а у него уже проверяют наследственность и природные задатки, чтобы привести в соответствие с программой по конъюнктуре. Его появление на свет есть не что иное, как результат управляемого производственного процесса, вот почему каждый ребенок обязан выжить. И ни один пока против этого не бунтовал.

В четырнадцать лет его разлучают с родителями и переводят в подростковый жилой сектор, где он пройдет специальную подготовку. Родительские права на ребенка ограничены во времени.

Дети в этом городе счастливы.

Болар, однако, не сознается в контактах с Джэлом.

В карточке Болара зафиксировано, что Болар доволен своим существованием. Болар не имеет претензий к системе нашего города. Болар благонадежен.

Болар изъянами не обладает.

А вот Джэл — строптивец. Джэл не хочет интегрироваться, не вписывается в окружение. Это они уже выяснили, хотя Джэл не зарегистрирован даже в административной картотеке. Поэтому он как бы и не вправе существовать.

Что за сигналы подает тебе Джэл?

Нет! — говорит Болар.

Нет, ни о каких сигналах он знать не знает.

Каким же это образом я держу связь с человеком, с которым¹ не могу поговорить? И каким образом принимаю сигналы, если знать не знаю, что это за сигналы и откуда они идут?

Но ты боишься за Джэла. Почему ты боишься за мальчишку, которого якобы не знаешь, только видел мельком и сразу же выдал?

Ты знаешь, что такое — быть выданным, оказаться в чьей-то власти?

Я его выдал? — спрашивает Болар.

Знаю.

Теперь твой черед. Теперь ты — в их власти. Взамен твоих старых воспоминаний они дадут тебе новые, которыми ты никогда не обладал, — воспоминания минувших поколений.

Воспоминания о прошлом твоей семьи отъединят тебя от Джэла. Телесных повреждений тебе не нанесут. Только твое «я» будет в их власти. Твое «я».

Не забудь имя свое.

Болар.

Видишь? Вот ты родишься на свет, но это задолго до твоего собственного рождения.

Ты чувствуешь боль, когда твои легкие наполняются воздухом. Кричишь.

В детстве на твоих глазах происходят странные вещи. И ты забываешь про них. Вот Братия спускается с горы, просит в деревне подаяния. Твоя мать, которая кормит их и поит, слывет святой.

Она одаривает всех деревенских юродивых. С каждым

поколением дети в деревне все безумнее.

Ты помнишь.

Твоя мать любит безумных детей.

Она святая.

Не забудь имя свое, Болар.

Из твоих семи братьев один еще жив.

Двое ушли на гору, к Братии.

Двое остались в деревне.

Двое решили перевалить через горы, кольцом обступившие деревню.

Тех двоих, что остались в деревне, унесла эпидемия.

Те двое, что ушли к Братии, убивали себя до смерти. А двое последних так и не добрались до равнины.

Я — твой седьмой брат.

Ты уходишь на войну и вот лежишь в земляной воронке, потому что шрапнельный взрыватель застрял у тебя под коленом.

Всего-навсего воспоминание.

Они не вправе преднамеренно нанести тебе вред, и ты не сдаешься. Умираешь среди мертвых и бредящих, с червями в ране, зная, что твоя жизнь — утопия.

Если посчастливится, тебя прооперируют на алтаре деревенской церкви.

Тогда ты умрешь с церковным благословением.

Ты умрешь.

Не забудь имя свое.

Болар.

Ты неподвластен истязаниям минувших десятилетий. Ты живешь в благоустроенном городе. Юродивых и больных у нас нет. Голодающая Братия и святые матери вымерли. Жизнь нашего города отличается здоровьем и отсутствием страстей.

От страданий у тебя здесь ни силы, ни власти не прибавится.

Страдающему свойствен какой-то изъян.

Твои данные хранятся в электронном мозге городской администрации. Ты должен им соответствовать.

Джэл отвечает?

Можешь попытаться сбежать отсюда вместе со мной.

Что пользы тебе от этого мальчишки?

Тебе незнакомы бомбежки. Не видел ты над головой

этих тяжелых самолетов — когда выглядываешь из подвала и у тебя на глазах в фюзеляже открываются створки бомбовых люков. Ты знаешь, что в тебя им уже не попасть. Тебе незнаком пулеметный огонь — когда стоишь у стены или убегаешь по деревне. Ребенок и пуля в затылок.

И голод среди отравленных рисовых полей тебе незнаком. И пытки в тюрьмах. Ты цел и невредим.

Мы не отжигаем тебе ногти, не выбиваем зубы.

Этим ты обязан своему городу.

Мы тебя контролируем.

Покуда у тебя еще не хватает духу пойти в бактериальные бункера, но ты уже несчастлив. Это — изъян.

Каждый должен быть счастлив.

Мы тебя возвращаем.

Болар.

Очнитесь, Болар, ошибка в программе.

Джэл удрал.

Мониторы показывают все здание. Две сотни телекамер отслеживают Джэла. Мужчины в белых защитных костюмах неотрывно глядят на экраны.

Это погоня.

Двери заблокированы. Никто теперь не покинет МПФ. Производственный процесс остановлен.

До той минуты, когда они обнаружат Джэла и вышлют наряд, чтобы схватить его.

Они идут по моему следу.

Болар упорно отрицает, что помог Джэлу улизнуть. Но с радостью пожелал бы Джэлу удачи. А это не осталось бы для Болара без последствий. Разве таким манером докажешь, что не помогал Джэлу?

Мы скажем ему правду о Джэле, однако нам известны лишь отдельные подробности.

Нет, говорит Болар, я их не знаю.

Вы бывали в Старом городе?

Как ты им объяснишь, что пожелал Джэлу удачи?

Почему я поддерживаю мальчугана, которого не знаю?

Болар в растерянности.

Нет, Старого города он не знает. Этот район необитаем и охраняется как исторический памятник. Изредка школьников водят туда на экскурсии. Учитель поясняет: Здесь

находили убежище преступники. А нынче, продолжает он, каждого ребенка регистрируют. Компьютер рассчитывает вероятность генетических аномалий, и в случае необходимости прибегают к оперативному вмешательству. Нынче не составляет труда интегрировать вас в наше общество, и вы счастливы.

Преисполненные благодарности, дети возвращаются в песочницы и на игровые площадки, под надзор телекамер.

Весь город просматривается на мониторах.

Джэл как будто бы жил на бойне, в Старом городе. Болар знает бойню со школьных времен. Он писал про нее сочинение и, как ему и положено, был счастлив.

Джэл сочинений не писал. Джэл не зарегистрирован, его наследственность не проверяли. И операций на Джэловом мозгу не проводили. Он может стать опасным для города.

Джэл не вправе существовать.

Они схватили Джэла, ведут его сюда, держат с двух сторон за плечи.

Меня схватили.

Я устал.

Джэл, говорит один из мужчин, вот это — Болар.

Джэл кивает.

Ты знаешь Болара?

Джэл знает Болара.

Болар в панике. Мальчишка ставит его под удар.

Панический страх обуял Болара.

Нет, твердит Болар, он не знает меня.

Я знаю Болара.

Нет, кричит Болар, никто меня не знает!

Болар видит: Джэл улыбается.

Ты рос зарегистрированным, слышит Болар голос Джэла, но губы Джэла не шевелятся. Тебя воспитывали по программе. Задатки и наследственные признаки у тебя такие, что не придерешься, вот почему и к оперативному вмешательству прибегать не стали. Ты, как они считают, продукт высшего качества и по этой причине имеешь право наблюдать за приемником и за крановщиками. Но ты позволил мне прийти.

Болар сопротивляется Джэлу.

Мальчугана клонит в сон.

Этот ребенок опасен, говорят врачи. Поселился на бойне, причем не один. Мы знаем, он был не один. Там определенно целая группа. В нашем городе определенно есть люди, не зарегистрированные в картотеках и не замеченные на мониторах. Что, если они без ведома Болара подчинили его себе? Может, контролер Болар был их связником неосознанно?

Не забудь имя свое, Болар.

Они хотят тебя выдрессировать, чтобы ты служил их целям.

Болар смотрит на Джэла, которого они все еще крепко держат. Мальчуган стоя дремлет.

Они выдрессировали всех граждан этого города.

Человеческий материал.

Людей, которые не адаптируются, нужно лечить.

Джэл лечению не поддается, констатируют врачи. Он упорствует.

Джэла надо бы подвергнуть операции на мозге.

Кое-какие клетки нужно истребить.

Программа для Болара идет дальше.

Они оставили нас одних. Умышленно.

К телу Болара все еще прикреплены электроды.

Они так скоро не сдадутся.

Я разрываю их систему. И хотя Болар знает, что любое движение руки, любой исходящий от него звук фиксируются на пленке, хотя Болару страшно, он спрашивает мальчугана, которого они оставили спящим на полу: Кто же ты, собственно, такой?

Джэл.

Откуда ты? Почему не зарегистрирован?

У меня есть друзья. Мы живем на бойне, ночуем в старых кровесборниках. Я должен поговорить с тобой.

В Боларе проснулось любопытство: Почему ты пришел ко мне, а не к моему коллеге Томкену?

Для Томкена пока что нет Джэла.

Томкен такой же контролер, как я, мы почти ничем друг от друга не отличаемся, ну разве только увлечениями.

Это Джэлу неинтересно.

Похоже, однако, Джэл знает больше всех остальных. Отчего меня мучают? — спрашивает Болар.

Будет еще хуже, говорю я, они постараются нагнать на

тебя еще больше страху. Например, станут пугать, что увезут тебя далеко-далеко от дома. Этот страх может вызвать спазмы сосудов и сердечную астму. А тогда они окончательно завладеют тобой. Так было и с теми, кого ты выдал Психиатрическому.

Я, говорит Болар, даже подумать не решался, что их излечение вовсе не излечение.

Но в снах своих ты размышлял, замечает Джэл.

И вот я здесь.

Изредка во сне ты спрашивал себя, почему те, кто отчаялся, стремятся в крановый цех. Болар говорит: Они не отчаялись. Они в сомнениях.

Они могли бы умереть, выбросившись из скоростных поездов, но им привили страх перед самоубийством, а вместе с ним — страх перед бунтом. Крохотное изменение в мозгу, не более. Чтобы люди не могли выйти из производственного процесса.

Только сны они трогать не осмеливаются. Если манипулировать снами, человек погибнет. Таким образом, сны — это заведомо осознанный риск. Сны допускают сомнение, запретное сомнение.

Болар внимательно слушает. Голос Джэла доносится словно бы из дальнего уголка боларовского мозга.

Ведь Джэл по-прежнему спит, как настоящий ребенок. Болар вслушивается в себя.

Он сомневается, но восстание невозможно, покуда город находится под наблюдением.

Покончить?

Ты чувствуешь страх, разбуженный этой мыслью?

И этот страх гонит вольнодумцев, мятущихся разладом между сомнением и покорностью, в крановый цех. С одной стороны, они подумывают о возможности все-таки покончить самоубийством, с другой же — в глубине души надеются, что ты их остановишь, выдашь Психиатрическому Отделу, который принесет излечение, сотрет их сны.

Они приравнивают излечение к избавлению, и страх лишает их рассудка.

Городская фабрика по переработке мусора стала для них обетованием, последней инстанцией, которая может спасти их от их же собственных снов, и ты, Болар, был

одним из хранителей этого святилища. Пока сам не начал видеть сны.

Правда? Я был хранителем?

Ты надеялся на мой приход?

Да, надеялся, признает Болар.

Чем вы занимаетесь на бойне? — любопытствует он. Там место сбора. Людей, в которых закралось сомнение, с каждым днем становится все больше.

Сплошь дети?

Да, с виду. Ни один не зарегистрирован. Нас вообще не существует.

Так кто же вы?

Я — это ты.

Болар — это Джэл?

Ты родился второй раз.

Мое недавнее воспоминание. Деревня и Братия?

Нет.

Где же?

Здесь, в городе.

Родился второй раз?

Ты подрастешь и выявишь назначение этого города.

Почему именно я?

Потому что, к счастью, у тебя хватает сил.

Сил? Для чего?

Сил и страсти. Для страданий, какие ты способен вытерпеть за других.

Болар задумывается об этом.

Мы что же, пешки в руках маленькой кучки людей? — спрашивает он.

Здесь, в этом городе, Болар, все можно изменить, если ты шагнешь из снов в реальность.

У меня есть шанс?

У тебя — да.

Кто я?

Бацилла для этого города.

Я — это Джэл?

Ты уже несешь городу заразу.

Мы размыкаем электрическую цепь, возвращая Болара из мира созданных нами иллюзий.

С этим контролером Боларом что-то не так.

Очнитесь, Болар, ошибка в программе.

Он хотел удрать от нас.

Мы вас излечим.

Нам надо ликвидировать опасность для города, которую знаменует собою Болар.

Кто применил к Болару программу для руководства?

Он мог бы подтвердить сны тех, кто проникает в приемник.

Болар очнулся. Ищет Джэла, спрашивает о спящем ребенке.

Что с Джэлом?

С Джэлом?

Джэла не существует, говорит один из мужчин в белом защитном костюме. Мы никогда не занимались ребенком по имени Джэл. Джэла нет.

Вы сами, Болар, хотели проникнуть в крановый цех. Но прежде чем впасть в безумие, сами же автоматически заблокировали дверь воздушного шлюза. Защищались от себя. Потом мы вас забрали и попытались освободить от этого.

К сожалению, вы до сих пор не поддаетесь нашему лечению.

Я больше не боюсь, констатирует Болар.

Ошибка в программе.

Вот в чем дело: он больше не боится.

И это дает ему преимущество.

Надо выявить, сколько в этом городе Боларов.

Далеко ли шагнула эта зараза?

Болар начинает хохотать.

На перевале

Целых три недели — непрекращающаяся жара; выжженная солнцем растительность на побережье. И вдруг эти

потоки воды в Лигурийских горах. Земля — черная от влаги. Капли, падающие с олив. Мы чуть не утонули под струями ливня.

Стеклоочистители не справлялись с дождем.

Потом — давящая духота в долине реки По.

Мы проехали через Милан и сделали небольшой крюк от Бергамо к озеру Изео.

Там мы заправились. Пока в бак заливали бензин, я прошлась по улице городка. По дороге заметила вывеску мороженого. Взяла две порции ванильного в очень вкусных вафельных стаканчиках. Одну порцию для себя, другую — для дочки, дожидаящейся на заднем сиденье.

Полдень, но становится прохладнее. Жара спала.

Забираюсь в машину, усаживаюсь.

Через некоторое время, уже по дороге от Тирано на Бормио, я неожиданно спохватываюсь: Как прекрасно было в долине Адды! Он сидит рядом, разложив на коленях карту.

Маршрут нам давно известен.

Что же изменилось? — спрашиваю я.

Что могло произойти за четырнадцать лет?

Он перечисляет новые гостиницы.

Время от времени я чувствую, что он смотрит на меня. Мы не разговариваем. Когда я вытаскиваю очередную сигарету, он обращается ко мне, дает прикурить.

Четырнадцать лет назад ему было двадцать три. Он был долговязый, худющий и вечно голодный. Теперь он поправился, носит бакенбарды, очки в тонкой золотой оправе. Однако он еще неплохо выглядит, особенно благодаря загару. Он загорает обычно до черноты, если долго находится на солнце.

Он мне нравится.

Когда мы добираемся до Бормио, он сует мне в рот новую сигарету. На миг я отвоевываю его у руля, к которому он прикован, и касаюсь его мягкой, теплой ладони.

Останавливаемся в той же гостинице, что и четырнадцать лет назад. У Анны отдельный номер рядом с нашим. Она уже достаточно взрослая. Во время поездки она почти не разговаривала с нами. Теперь она разглядывает гостиницу, посматривая на нас. Смотрит немного свысока.

Гостиница неплохая. Четырнадцать лет назад она была

еще лучше. Очень старая и роскошная. Видно, что под листьями дикого винограда, вьющегося по стенам, отвалилась штукатурка. Как будто ничего и не изменилось.

Тогда все было почти так же, как теперь.

Тоже три недели не было дождя. Лишь иногда собирались тучи над вершинами гор, а ветер уносил их в сторону моря. Жара и запах масла для загара на пляже...

Потом эта гостиница на обратном пути. Звяканье тарелок и чашек, запахи еды, доносящиеся с кухни. Одно окно выходит во внутренний дворик и открыто, другое — на улицу — закрыто.

Через день мы оказались в горах. Побережье осталось позади. Комнатка неплохая. Только какая-то неполадка с краном в ванной. Все время шумит вода.

Забираюсь на кровать с ногами и прислушиваюсь к этому шуму.

Освещение ужасное: слабая лампочка под стеклянным плафоном. Может, хоть кровать деревянная? Нет, я случайно стучаюсь об нее коленкой и слышу металлический отзвук. На полу — линолеум и огрызок ковра. На одну ночь и это сгодится.

Наш отдых подходит к концу.

Муж расположился на кровати, закинув ногу на ногу. Хочешь есть? — обращается он ко мне.

Я голодная.

Внизу жарится мясо. Запах доходит до нашего номера. Синьора в черном осведомляется, чего бы мы хотели поесть.

Спасибо, отвечаю я, мы уже поели.

На самом деле — нет.

Для начала надо узнать, сколько стоит номер.

Прикинув, я говорю, что денег хватит, еще останется на обратную дорогу.

Он принес из машины транзистор и ищет немецкую станцию.

Сейчас должны передавать новости, бурчит он и смотрит на часы. В ванной шумит вода, а я почему-то боюсь протянуть к нему руку, дотронуться до него. Он злится. Это вылилось бы наружу, если бы я не сдерживалась.

Я так устала.

Но все-таки надо с ним заговорить.

Хочешь есть? — спрашиваю, ощущая пустоту в собственном желудке.

Он все возится с транзистором. Встаю, подхожу к окну. Закрой окно! — приказывает он.

Высовываюсь наружу. Дворик узкий. Перегнувшись через подоконник, заглядываю вниз, вижу кухню. За широкими окнами — женщина.

Мне не хватает воздуха, заявляю я.

А мне холодно, возражает он. Наконец-то, кажется, нужная волна найдена. Он вслушивается в передачу, улегся и курит уже третью сигарету, не предлагая мне присоединиться.

Дай сигарету, прошу я.

Он хватается пачку и бросает ее на мою половину кровати, даже не повернув головы. Конечно, он в ярости. Потому что машина сломалась.

Сцепление могло сломаться и по другой причине, заявляю я.

Молчит.

Для итальянской кровати он слишком длинный. Головой и ногами упирается в спинки.

На одну-то ночь в отеле мы наскребем. Я говорю это уверенным тоном.

Наконец-то он поймал какую-то музыку. Достāju сигарету из пачки и закуриваю.

Спрашиваю у него: Ты хоть знаешь, как ехать дальше, по какой дороге, когда завтра починят машину?

Кивает.

Ты что, даже не взглянешь на карту?

Он с силой раздавливает окурок в пепельнице, стоящей рядом на тумбочке, и встает. Начинает раздеваться.

От долины Адды вернемся до Тирано, отвечает он, а потом — через Бернину.

На меня он не смотрит.

Почему ты не желаешь со мной разговаривать? — перехожу я в наступление.

Мне захотелось вдруг стать совсем маленькой девочкой. Я соскучилась по дому.

Разве я виновата, что сорвалось сцепление?!

Он открывает чемодан и вытаскивает пижаму. Он силь-

но загорел. Ноги длинные, стройные, щиколотки тонкие. Натягивает на себя пижаму и снимает с руки часы. Делает все автоматически, по привычке. На руке остался белый след от ремешка.

За одну ночь, оправдываюсь я, мы заплатим не так уж много. Завтра отправимся в путь, а когда-нибудь еще будем с удовольствием вспоминать нашу поездку.

Закрой окно, слышу приказ, и он с головой забирается под одеяло. Повернулся ко мне спиной. Боюсь до него дотронуться, а так хочется его погладить.

Прислушиваюсь: он дышит так, как будто уже засыпает.

Неожиданно он произносит: Штильфзер-перевал — это твоя идея. Если бы к тому же ты не ошиблась на целый километр, мы скоро были бы дома.

Оправдываюсь: С каждым может такое случиться. Цифры на карте такие мелкие. И указателя не было. Или ты видел указатель? Ведь они же должны были как-то дать знать, что перевал еще закрыт, потому что наверху лежит снег, или как?

Под одеялом никакого движения.

Ты спишь?

Не желает больше со мной разговаривать.

Поднимаюсь, выключаю свет, подхожу к окну, открываю его. Мне нечем дышать, я задыхаюсь.

Он продолжает молчать. Раздеваюсь в полной темноте. Из ванной опять доносится звук воды. Муж не двигается и тогда, когда я голышом шмыгаю под одеяло.

Ничего я не смыслю в этих проклятых машинах, ни разу даже не садилась за руль, надеюсь — это меня никогда не заинтересует.

Конечно, я знаю, например, что мотор автомобиля соответствует шестидесяти шести лошадиным силам.

Ты хороший водитель, шепчу себе под нос, в этом я не сомневаюсь. Вслух говорю: Спокойной ночи.

Он — в ответ: Спокойной ночи.

Я начинаю вспоминать, как было хорошо! Три недели непрекращающейся жары. Никак не могу заснуть. Каждый раз, как раздается шум воды в ванной, я прижимаю к ушам подушку, вжимаюсь в нее.

Он, кажется, заснул.

У меня не выходит из головы происшествие на перевале.

Когда мы поднялись по горной дороге, оказалось, что перевал закрыт и придется возвращаться в Бормио. Солнце уже садилось, и надо было поспеть до темноты.

Неподалеку от Бергамо мы свернули из долины По в горы. В Изео заправились, а я съела мороженое с ванилью. Каждый раз он поучает меня, что я испорчу желудок.

И мы решили попробовать новый маршрут.

Раскладываю карту на коленях.

Как только мы забираемся в горы, воздух становится прохладнее.

После обеда я вдруг ни с того ни с сего говорю: Как красиво в долине Адды!

Проехали от Тирано к Бормио. За Бормио надо подняться к перевалу. Сажусь на переднее сиденье, рядом с ним.

Время от времени поглядываю на него. На носу у него очки в грубой роговой оправе, которые отнюдь не украшают. Но все-таки он прекрасно выглядит даже в этих уродских очках.

Кожа на шее у него шелушится.

Заметно, что он побаивается. Проезд узкий. Дальше наверху сплошные камни, никакой растительности. Дорога крутая. Его лицо скрыто тенью, отбрасываемой горами, нависшими над дорогой. Он как будто нарочно уклоняется от моего взгляда. Положив руку на его колено, чувствую, что он совершенно мокрый от пота. Он избегает смотреть на меня.

Далеко еще? — спрашивает — долго еще подниматься?

Отыскиваю перевал на карте, тыча в нее пальцем.

Тысяча семьсот, говорю я, и мы доберемся до снежных вершин.

У него даже побелели костяшки пальцев — так крепко он вцепился в руль.

Боишься? — спрашиваю я.

Он кивает головой в сторону снегов и произносит: Ты, должно быть, ошиблась. Наверняка.

Признаюсь: я перепутала. Для меня высота одинаковая — что мне лишняя тысяча метров!

Воздух разреженный и холодный. Вспомнишь тут побережье. Выжженный солнцем ландшафт.

Добравшись до самого верха, мы вынуждены повернуть

назад. Перевал засыпан снежной лавиной. В здешнем отеле места только для рабочих, занятых на расчистке.

Путь будет открыт лишь в июле, сообщает нам один из рабочих.

Высота обозначена на табличке: 2700.

На такой высоте снег лежит долго. Дорога скользкая. На спуске это и случилось. Сорвалось сцепление. На серпантине ему еще удавалось удерживать машину с помощью тормозов. Он молча ехал, аккуратно спускаясь по серпантину. Казалось, это будет продолжаться бесконечно.

Прямо на выезде из ущелья мы наткнулись на авторемонтную мастерскую. Гостиницу напротив не заметили.

Молодой механик встретил нас приветливо. Запасные части они вынуждены возить из Тирано, на сегодня работа окончена, отложим до завтра. Он и посоветовал обратиться в отель напротив. Помог донести чемоданы.

Мне подумалось: в сезон здесь, наверное, уйма народу. Я пыталась успокоиться.

Гостиница была совершенно пустая. Мы увидели только двух женщин.

Та, что помоложе, беседовала с механиком. Когда мы поднимались в номер, мне показалось, что снизу послышался смех.

Я сказала об этом мужу.

Об этом и говорить не приходится, пробурчал он.

Наутро, за завтраком мы опять оказались в одиночестве. На террасе всего два накрытых стола, остальные стоят с прислоненными к ним стульями.

Девять часов. В тени каштанов прохладно.

Он пьет кофе с большим количеством молока и сахара.

Я непрерывно поглощаю белый хлеб, которого на столе полная плетенка.

Подглядывая через край чашки, наблюдаю за вчерашней девушкой. Облокотившись на перила с другого конца террасы, она что-то кричит через улицу. На той стороне — механик. Он машет рукой. Смеется. Видно, они хорошо понимают друг друга.

Какие смешные, говорю я как ни в чем не бывало: не хочется выглядеть расстроенной. Он и не подумал взглянуть в их сторону, проглотил кофе и рассматривает дом.

Гостиница очень старая и очень роскошная. Видно, что под листьями дикого винограда, вьющегося по стенам, отвалилась штукатурка. Я предлагаю ему посмотреть карту города, но он даже раскрыть ее не желает.

Тебе весело? — спрашивает он меня.

Их разделяет только улица, отвечаю я, у них завидное взаимопонимание.

Он все еще злится, и это выбивает меня из колеи. Я надеюсь про себя, что вот он встанет, обойдет стол и обнимет меня. Так хочется разрушить стену, вдруг выросшую между нами. Сядь за стол, он предупредил девушку, что мы больше не нуждаемся в номере. Она, улыбнувшись, кивнула.

Машина должна быть готова после обеда.

Давай осмотрим окрестности, предлагаю я. За завтраком между нами намечается некоторое потепление.

После обеда механик сообщает, что автобус, который раз в день приходит в Бормио из Тирано, сегодня не привез запчастей.

Возвращаемся в комнату.

Я голодная, заявляю я.

В кухне жарят мясо на оливковом масле.

Для кого они готовят? — спрашиваю — ведь, кроме нас, никого нет. Он ложится на кровать, закуривает, уставившись в потолок. Раздеваясь, жалуясь, что всю ночь не могла уснуть из-за шума воды.

Он молчит, и я начинаю фантазировать, придумывать — как ребенок — тайный код для общения.

Как только я ложусь рядом с ним, он поднимается с кровати. Он в затруднительном положении, ему трудно ко мне подойти.

Мне вдруг вспоминается один рассказ — о кораблекрушении.

Три недели мы вместе провалялись на пляже.

Иногда море пахло нефтью. Нам было хорошо в послеобеденные часы, солнце разнеживало нас.

Теперь мне приходится вести беседу, иначе он совсем замкнется.

На следующее утро — снова завтрак под каштанами, снова время тянется в ожидании автобуса из Тирано. Но и на этот раз запчастей не привезли.

Девушка улыбается, когда муж подходит к ней, чтобы оставить номер за нами на третью ночь. Она кивает и кричит что-то через улицу. Механик удовлетворен. Они радуются.

Ты понимаешь, что они говорят? — спрашивает он.

Мы в западне.

Нам страшно.

Поднимаемся в номер. Он — с транзистором через плечо.

Как только дверь за нами захлопывается, слышится шум воды в ванной.

Он говорит: Мы полностью в их распоряжении.

На другой день он решил обратиться в полицию.

У нас трудности из-за незнания итальянского.

Да, трудности.

Сгорбившись, он сидит на кровати.

Я уверена, что сильный человек всегда найдет выход из положения.

Встаю, обхожу вокруг постели, обнимаю его за плечи.

Трудно это выразить словами, но прикосновение к нему дает мне силы.

Потом мы лежим рядом.

Я люблю тебя, говорю я.

Он поворачивается ко мне, и в его глазах читается страх сродни моему.

Однако я чувствую себя все-таки защищенной, когда он так смотрит на меня.

Ищем новости по транзистору.

По-прежнему шумит в ванной вода. Синьора состарилась. Девушка вышла замуж за механика. И никто из них не узнал нас.

Я устроилась на кровати, подложив руки под голову.

Внизу на кухне жарится мясо.

Стук в дверь. Входит Анна. Зимой ей исполнится тринадцать. Она похожа на отца. Через плечо у нее транзистор, передают какой-то итальянский шлягер.

Прежде чем войти, она на минутку приостанавливается и оценивающим взглядом окидывает нас и нашу комнату.

Из наших обрывочных рассказов она уже знает всю историю. Ей совсем не хотелось сюда приезжать.

И как ты тут лежишь? — укоряет она меня.

Обратившись к отцу, спрашивает, можно ли ей спуститься вниз подышать воздухом.

Муж стоит у окна и смотрит на улицу.

Все выглядит так, говорит он, как будто время остановилось.

Сколько мы здесь пробудем? — интересуется Анна, видно, ей уже невтерпеж.

Три дня, отвечаю я.

Я вас не понимаю, заявляет дочь, вас привела сюда пошлая сентиментальность.

Иди, но ненадолго, говорит ей отец и смотрит, как она с транзистором через плечо выходит в прихожую и захлопывает за собой дверь, даже не обернувшись.

Перевал открыт, говорю я, ты видел указатель? Aperto, говорю я по-итальянски. Я выучила язык.

Он подходит к кровати и начинает раздеваться. Он полноват, но ноги еще стройные.

Кто поведет машину, ты или я? — спрашиваю.

Он улыбается. Я уверена, что на этот раз мы обязательно справимся с задачей.

С улицы доносятся звуки транзистора.

Я буду трястись от страха — так же как и ты, говорю я.

Он залезает под одеяло. Больше он не командует: «Закрой окно!»

Мы привыкли спать с открытыми окнами.

Чтобы ездить как следует, надо уметь управлять.

Я гляжу на него.

Ты красивый, говорю я и глажу его по голове.

Мне теперь ничего не страшно.

С улицы раздается свист. Поднимаюсь, выглядываю в окно.

Внизу, на перилах террасы, восседает Анна. Она свистит вслед какому-то мальчишке.

Дважды по сыну

Сын, говорит акушерка, и мне слышно, как она называет дату и час рождения, диктует длину, вес и пол.

Он нахлебался околоплодной жидкости, лицом поси-
нел и кричит.

Мгновение я слушаю крик новорожденного и цифры, которые перечисляет акушерка, а думаю о старухе из фли-
геля; у нее тоже был сын. Теперь ему сорок. Мать его вче-
ра скончалась, в полном одиночестве.

Я спрашиваю себя: чего она ждала от сына, когда роди-
ла его на свет? Чего ждешь ты от своего ребенка, которого
вот сию минуту вытолкнула из себя и должна бы взять
на руки, а то и вылизать, как кошка котенка. Уф-ф, голо-
ва кругом идет.

Или по-другому: как все будет, когда этому вот сверточку
стукнет сорок, когда ты постареешь, и нервы станут ни
к черту, и на нервной почве ты начнешь смертельно
бояться, что тебя отравят. Вдруг в последние месяцы жиз-
ни ты уверуешь в это, поскольку ничего иного тебе не
останется?

Изредка тебя навещала подруга. От других людей ты еду
не принимала, одной лишь подруге разрешалось закупать
для тебя продукты.

В Старом городе она шла в мелочную лавчонку через
дорогу, и обслуживали ее там в первую очередь. Лавочни-
ца знала, что покупки делаются для тебя. И продукты не-
пременно должны быть фасованными: молоко в пакетах
и ливерная колбаса в целлофановой оболочке — товары,
изготовленные анонимами, ведь ты была твердо убеждена,
что уж на пищевых-то фабриках ненавистников у тебя нет.

Подруга притворялась лучше, чем ты. Люди ей верили.
Ты же последние десять лет жизни взяла на себя роль
комической старухи, однако это амплуа уже не пользова-
лось популярностью. Вначале ты просто играла на публику,
но постепенно приняла все это на веру, и твоя мания
преследования стала уже не просто этаким прощальным
гвоздем программы.

Этот страх, что тебя действительно отравят, пока сын

где-то разъезжает, пока он весь в делах, стремясь закрепитесь на позициях, утраченных другими. Он это умеет. Парень хорошо учился и до сих пор сам не приплачивал, а только приобретал; максимум знаний и минимум индивидуальности — вот чего требуют запросы рынка, вот что от него ожидается.

Лишь его бзик сходен с твоими наклонностями.

Сидит себе за письменным столом, тяжелым, массивным, и наживается на росте цен и дешевизне рабочей силы. Позади него — забранная деревянной панелью стена и своя система управления, перед ним — заказы.

Благодаря твоему воспитанию он кое-чего достиг.

Я просыпаюсь после наркоза, слышу, как акушерка перечисляет сведения о моем сыне: дату и час рождения, вес и длину — пятьдесят два сантиметра; вижу, как медсестра увозит его в детское отделение, думаю: пока что этот комочек, этот мужчина в миниатюре, хочет всего лишь есть да спать, а еще думаю о том, как я буду его растить.

Ты сделаешь из него человека тихого и спокойного, думаю я.

И растила ты его именно там, где надо. Мир начался для него среди машин, строительных площадок и кабинетов начальства.

Мой сын сделает карьеру, говорила ты.

К тридцати годам он обзавелся бзиком, собственным строительным делом, женой и детьми, у него был порядок и старуха мать на задворках фирменного офиса.

Там она изо дня в день сидела у окна и смотрела через двор, мимо фасадного здания на улицу. Видела, как беременная привратница метет двор. Позднее видела, как рядом с привратницей, идущей в главное здание с ведром и тряпкой, чтобы вымыть лестницу строительной фирмы, вприпрыжку бежит маленький мальчик.

Старая женщина не пыталась завязать добрые отношения с соседями по дому. Время от времени к ней заходила подруга, которая так и не вышла замуж и сына не имела. Она только и делала, что работала, — какой смысл рассказывать ей о сыне?

В тридцать лет он выдохся; заполучил бзик: сидя за письменным столом, бритвой резал на тоненькие пластин-

ки толстые белые ластикки.

Думал он при этом о марципане и о своей секретарше, хорошенькой молодой девушке. Ей приходилось закупать по оптовым ценам толстые, белые, сподручные ластикки, чтобы у него всегда был хороший запас. В остальном он полностью соответствовал тому образу мужчины, какой всячески насаждают рекламные агентства: он словно сошел с рекламы виски, курительных трубок, нижнего белья, электроники и робототехники, спортивных автомобилей и одеколona — инициативный, смекалистый и энергичный, с безошибочным чутьем, всегда в отличной форме, всегда решительный.

Мужчина, существующий в твоём воображении, крупным планом, в цвете.

Катастрофа.

Ваш сын, говорит акушерка, и сестра подносит его к моему лицу, семь фунтов, пятьдесят два сантиметра. Роды мы оба выдержали без осложнений. Он только чуть посинел, так как хлебнул околоплодной жидкости.

Ваш сын, сказала акушерка. Она что же, имеет в виду того, кто разыгрывает киношные смерти на Дальнем Западе, у кого на бедре болтается кобура с кольтом, кто стоит, широко расставив ноги и выпятив живот, готовый в любую минуту уложить выстрелом врага; каждая метка на кольте — труп?

Вскормленный матерью, он вырастет из пеленок, станет мужчиной, высколенным меж детской и кухней, меж беговой дорожкой и лошадю-качалкой.

Твой сын.

Что тебе еще нужно? Или ты бы хотела видеть его иным?

Ты любила его, как фарфоровые безделушки в буфете. Ты на опыте проверяла, как делают мужчину из ребенка мужского пола. Его роль и твои режиссерские указания были заранее определены.

В пять лет он набрасывает на стене детской свои первые игры, игры в приличной комнате, в четырех белых стенах. На одной стене он изображает отца — вон стоит, широко расставив ноги, в любую минуту наготове, нагруженный телевизором, холодильником, стиральной машиной, а вдоба-

вок еще и новым автомобилем.

Ты станешь отваживать его от этих игр: фантастические образы на белой стене, где ты ни пятнышка отыскать не можешь.

Потом он сделает набросок льва, которого отец удушит голыми руками.

Ах, этот мальчишка с его нелепыми выдумками!

Но в конце концов лев у него захлопнет пасть.

Теперь он выхватит кольты, выстрелит и левой рукой, и правой, прямо с бедра, и разделается с отцом, который умрет киношной смертью.

Ты посмеешься.

Глупая игра.

Мальчишка как мальчишка.

Тебя уже нет в живых, ты скончалась от сердечной недостаточности.

Никому не было дела до твоего больного сердца.

Три дня спустя подруга найдет тебя и уведомит твоего сына.

Они освободят твой шкаф, кучей вывалят на пол старые вещи. Ты хранила все свои любимые платья. На что они мне? — скажет сын и отдаст их благотворительному обществу. Привратница расскажет в лавке напротив: Она боялась, что ее отравят.

Мать вечно выдумывала всякие нелепости, скажет твой сын.

Он принял на веру твою роль комической старухи.

Фарфоровые безделушки из буфета он подарит твоей подруге.

На твоих похоронах он будет держать в кармане пальто белые тоненькие и мягкие пластинки ластика, а рядом с ним будет стоять секретарша. На кладбище будет холодно, и он станет уверять, что скорбит по тебе.

Сын, говорит акушерка, и мне слышно, как она называет дату и час рождения, диктует длину, вес и пол.

Семь фунтов — легонький. Я воображаю, каким он будет, когда вырастет.

Ему лишь несколько минут, а ты уже набрасываешь программу.

Я обдумываю, как сделать из него человека, который мне

по душе.

Долой будущность героя вестернов. Кольты и насечки канули в прошлое.

Компьютеры и роботы взаимозаменяемы, сынок.

Окопные игры твоих братьев никому не нужны.

В случае войны ты не дашь погрузить себя на корабль, ты и другие. Я придумываю для тебя шанс, сынок.

Я думаю, для того ты и родишь его на свет, чтобы свет этот изменился?

Не в своем уме

Бук чуждается людей. Изредка к нему заходит женщина, чуть старше его годами, говорит: Из нас бы вышла хорошая пара.

Но Бук и слышать об этом не хочет.

Нет уж, говорит, увольте. У него все в прошлом. Он ни на что не претендует.

Днем он занимается собаками, а по вечерам иной раз пускает к себе эту женщину. Ей лет сорок пять, темные волосы, мягкие руки, пышная грудь. Буку она нравится, собакам его тоже.

Когда, приехав сюда, Бук поселился в старом доме на городской окраине, он был совсем плох. Держал двери и окна на замке, собак запирали на псарне и почти никуда не выходил.

Дом этот долгое время пустовал, штукатурка внутри от сырости пошла пятнами. Бук обосновался в двух комнатах, потому что они защищали его от дождя и снега. Кухню он топил щепой и еловыми шишками.

В первую зиму его видели, только когда он кормил собак или разговаривал с ними на псарне.

Женщина познакомилась с ним случайно, уже весной. Бук решил продать выводок щенков, а темноволосая, прочтя в продуктовом магазине его объявление, наведальась к нему.

У него давно не было женщины.

Говорила она мало, лишь смотрела на него. И не побоялась зайти на псарню, к собакам.

Она не спросила, почему он живет затворником, только сказала: А вы моложе меня.

Позднее она изредка приносила ему газету или овощи с собственного огорода. Она была вдова, Бук заметил у нее на пальце два обручальных кольца, но сама она об этом не упоминала.

Когда в ее саду расплодились полевки, она пригласила Бука. Показала ему, как их истреблять. За каждую полевку она платила ему пять марок, поскольку любила свою ухоженную лужайку.

Скоро и другие владельцы садов стали обращаться к Буку. Но в дома его не пускают. Бук развешивает полевков на деревьях, а на следующий день приходит за деньгами.

Так он зарабатывает на жизнь.

Местные не знают, кто он, и до сих пор относятся к нему с недоверием. Бука это не трогает.

Одной только женщине кое-что известно. Бук изредка рассказывает ей кусочек своей истории.

Он даже не знает, верит она ему или нет.

Она согревает его, ласково гладит мягкими руками. Вопросов задает мало, больше молчит. Она спокойна и размеренна, как дни его жизни.

Лишь изредка Бук вспоминает о жене и о детях.

Началось это три года назад. Бук жил тогда в маленьком городке к северу отсюда. Все у них было хорошо, Бук на досуге разводил породистых псов.

И когда однажды вечером жена положила перед ним на стол судебную повестку, он растерялся. Ведь никаких проступков за ним не было.

Что это значит? — спросила жена. Просто ума не приложу. И она засмеялась, сверкнув белыми зубами. Бук любил ее смех.

Она посоветовала ему завтра же утром сходить в полицию и выяснить, в чем дело.

Наутро Бук еще до работы отправился в участок. Предъявил повестку и спросил, зачем его вызывают. Оказалось, сотрудник, ведущий его дело, как раз сегодня выходной.

Но ведь и вы, наверное, знаете, зачем меня вызывают, сказал Бук с изрядной долей самоуверенности.

Молодой полицейский быстро посмотрел на него, смерил взглядом с головы до ног.

Что произошло? — спросил Бук, и в ушах у него ожил смех жены. Что это значит, а?

Вы только не волнуйтесь, ответил полицейский, тут один заявил на вас. Якобы вы убили в Тюбингене какую-то женщину.

Бук прямо-таки опешил.

Да вы не расстраивайтесь, успокоил полицейский, все не так уж и страшно.

Дома Бук спросил у жены: Что мне им сказать?

Тюбинген? — переспросила она. Но ты же никогда не бывал в Тюбингене.

У нее было доброе сердце. С годами она понемногу подкапливала жирок на бедрах и плечах и становилась все больше похожа на свою мать.

Бук чувствовал себя уютно рядом с нею. А о ее благо-расположении давным-давно перестал беспокоиться.

Так и говорят: ты, дескать, ее убил? Она накрывала на кухне стол — пять тарелок, пять приборов: вот-вот придут из школы трое их детей.

Он сказал, все не так уж и страшно, ответил Бук, по-прежнему растерянный.

Спутали, наверное. Так тоже бывает, заметила она. Детям они про это словом не обмолвились.

Завтра иду к парикмахеру, сказала жена Бука.

Старшему мальчику нужны новые футбольные бутсы. Бук согласно кивнул. Этого было достаточно.

У них в семье ссоры случались редко.

Все как будто бы не так уж и страшно, сказал Бук на следующий день сотруднику, который вел его дело. Чтобы съездить в полицию, он отпросился после обеда с работы.

Полицейский, с которым он разговаривал, вызывал симпатию. Мой ровесник, под сорок, не старше, думал Бук, глядя, как тот листает бумаги.

Я никогда не бывал в Тюбингене, заверил Бук, и его визави успокаивающе поднял руку.

Спутали, наверное, так тоже бывает, сказал Бук.

Полицейский оторвался от бумаг и посмотрел на Бука.

Не волнуйтесь, так действительно бывает, и часто. Вы — четыреста пятьдесят первый подозреваемый по делу об этом убийстве.

Бук облегченно вздохнул.

Это дело — одно из тех, о которых сообщают по телевидению, чтобы при содействии населения выйти на след преступника.

Я изредка смотрю такие передачи, сказал Бук. Из-за детей. Для них это как захватывающий кинодетектив.

Бук успокоился. Полицейскому больше незачем поднимать руку. Все вполне безобидно.

Ну правда, с какой бы стати ему убивать женщин?

Тем не менее, чтобы закрыть дело, надо выполнить ряд формальностей, сказал полицейский. Порядок есть порядок.

Бук несколько смутился, ведь этот порядок был ему пока незнаком.

Начнем с протокола, решил полицейский; держался он с Буком весьма дружелюбно.

Заправив в машинку нужный бланк, он любезно помог Буку одолеть первые формулировочные трудности.

Вошел совсем молоденький полицейский и, узнав, что здесь происходит, с ухмылкой заметил: Очередной псих. В виду он имел явно не Бука.

Сидя за одним из столов позади барьера, разделявшего помещение, Бук слушал полицейского и раз за разом согласно кивал, когда тот предлагал записать такое-то показание.

Бук заверял, что отнюдь не совершал три года назад нападения на комммерсантку Клаудию Штауденмайер в ее собственном магазине, по адресу: Тюбинген, Вокзальная улица, семь, — не убивал ее, нанеся удар по голове и десять ножевых ран, и не грабил. Я вообще не бывал в Тюбингене, говорил Бук.

Все ясно, сказал полицейский. И не стал нажимать, когда Бук не сумел вспомнить, где находился три года назад седьмого июня.

Не помню, сказал Бук, наверное, на работе был, как всегда. Три года — очень уж долгий срок.

Вы не волнуйтесь, опять сказал полицейский, и Бук решил, что опасность миновала. Он был спокоен и невоз-

мутим, даже узнав, что для процедуры уголовной регистрации необходимо соблюсти еще кой-какие формальности.

Бук безропотно позволил отвести себя в соседнюю комнату. Он не боялся полиции. Никаких проступков за ним не было и нет. И ничего ему не грозит.

В соседней комнате ждали двое. Один сфотографировал Бука в фас и в профиль, второй снял у него отпечатки пальцев и показал потом, где можно отмыть штемпельную краску.

Легонько подмигнув, чуть ли не весело Бук спросил: Я что, попал в картотеку преступников?

Это так, формальность, заверили его. Ведь через некоторое время его дело будет прекращено, поэтому бояться не стоит.

А чего мне бояться? — спросил себя Бук.

Дома он рассказал жене, как все прошло в полиции, и она рассмеялась. Он любил ее смех, ведь при этом она показывала свои ровные белые зубы.

В выходные он вместе с женой и детьми поехал в соседний город, повез одного из лучших своих псов на собачью выставку.

Бук просил жену не говорить детям об этой истории. А то разболтают в школе, и кто знает, чем все тогда кончится.

Худая-то слава по дорожке бежит, ее не остановишь. Вот единственное, чего они опасались.

Со временем, однако, происшествия эти стали забываться, и жизнь текла по-прежнему, своим чередом.

Лишь через год Буку снова напомнили о том, что он якобы совершил в Тюбингене убийство.

Когда он около шести вечера вернулся с работы, жена уже распечатала конверт и теперь подвинула ему письмо; Бук заметил, что она сердится.

Ты же не бывал в Тюбингене, — сказала она, и на сей раз это прозвучало почти как вопрос.

Ты же знаешь, ответил Бук и взял ее за руку. Что с тобой?

Он не сразу понял, что она начала нервничать.

Писем они получали мало, редко когда ее мать напишет или его сестра, а то кто-нибудь открытку из отпуска пришлет. Почтальон, верно, удивляется: ишь ты, официальное

письмо... что бы это значило?

Бука вызывали к судье, на допрос.

Вот увидишь, успокаивал Бук жену, это так, формальность. Им всех положено допросить.

Он не сказал: всех подозреваемых.

Бук отпросился на день с работы, надел лучший свой костюм и поехал на допрос.

Вернувшись, он прочел страх во взгляде жены и подумал: мне ведь не с кем больше поговорить об этом.

Женин испуг выбил его из колеи.

Что мне делать? — спросил он, теперь и ему стало страшно.

Я ведь беззащитен и безоружен, сказал он и развел руками, как человек, готовый признать себя побежденным.

Он заверил судью, что вовсе не совершал четыре года назад нападения на коммерсантку Клаудию Штауденмайер в ее собственном магазине, по адресу: Тюбинген, Вокзальная улица, семь, — не убивал ее, нанеся удар по голове и десять ножевых ран, и не грабил.

Я не знал этой женщины.

И в Тюбингене никогда не бывал.

Только вот, к сожалению, не помню, где находился седьмого июня четыре года назад.

Стенографист запротоколировал показания Бука; перед допросом Бука уведомили, что он не обязан давать показания себе в ущерб.

Мне скрывать нечего, ответил Бук.

Нам же скрывать нечего, сказал он жене.

За все годы супружеской жизни он ни разу не видел ее в растерянности. И детские болезни, и школьные неурядицы были ей нипочем, и домашние дела у нее спорились, и деньгами она умела распорядиться. Она не возражала против мужниных собак и даже готова была кормить их в его отсутствие.

До сих пор жаловаться им было не на что.

Но теперь Бук почувствовал, что она начинает терять почву под ногами.

Все не так уж и страшно, сказал Бук.

Она покачала головой, а вскоре ушла за младшей дочкой в детский сад.

Вечером, когда детей уложили спать, Бук обратился

к жене за поддержкой и советом.

Он был совершенно выбит из колеи.

При детях решено было об этом не говорить. А теперь жена успела уже все обдумать.

Придется нанять адвоката, сказала она, здесь нужен специалист, чтоб все ходы-выходы знал. Мы-то с тобой полные профаны.

Это стоит денег.

Что делать, сказала Букова жена.

До сих пор, когда детям хотелось посмотреть телерозыск, они нисколько не возражали. Захватывающее зрелище, прямо кинодетектив.

Знакомого адвоката у Бука не было. И он пошел к тому, мимо чьей конторы каждое утро ездил на работу.

Когда Бук рассказал свою историю, адвокат воскликнул: Фантастика, да и только!

Попросив Бука подписать доверенность, он сказал: Если все сложится удачно, тот, кто на вас заявил, непременно возместит вам убытки.

Он затребовал из прокуратуры дело Бука.

Визит к адвокату стоил Буку еще полдня отпуска.

Если все сложится удачно, сказал он жене, мы не потеряем ни пфеннига.

Адвокат-то хороший? — спросила она.

Конечно, уверенно ответил Бук, он делал себе пометки, он все записал.

Спустя две недели молодой адвокат вновь пригласил его к себе. Из прокуратуры прислали дело.

Ты со мной пойдешь? При жене Бук чувствовал бы себя увереннее. Но она не хотела оставлять детей без присмотра.

Потом расскажешь, сказала она.

Адвокат сказал: Вы не торопитесь. Спокойно изучите материалы, а после обсудим, что предпринять.

Бук с трудом понимал канцелярский язык, и, пока он усвоил, что к чему, прошло много времени.

У начальника он отпросился только до обеда, а потому около двенадцати позвонил на работу и отпросился до конца дня. И с тоской подумал о сокращении летнего отпуска.

Молодого адвоката Бук тоже заверил, что не совершал

седьмого июня четыре года назад нападения на коммерсантку Клаудию Штауденмайер в ее собственном магазине, по адресу: Тюбинген, Вокзальная улица, семь,— не убивал ее, нанеся удар по голове и десять ножевых ран в живот и грудь, и не грабил.

Адвокат привык иметь дело с такого рода вещами.

Здесь перечислено множество подробностей преступления, сказал он, а тот, кто на вас заявил, зовется Альберт Баст и живет в Хайденхайме, Каменная, двадцать один. К тому же вы якобы убили не только коммерсантку Клаудию Штауденмайер, но и прокурриста Фрица Рота.

Молодой адвокат успокоил его: Да вы не тревожьтесь, обвинения совершенно безосновательны.

Я никогда не бывал в Тюбингене, твердил Бук.

И никогда туда не поеду.

А вы знаете этого Альберта Баста, который на вас заявил? — спросил адвокат.

Если не знаете, то откуда ему известен ваш адрес?

И он вспомнил: они были знакомы, но очень недолго и чисто шапочно. Этот человек некоторое время работал с ним в одной фирме. Господи, сказал Бук, этот малый не иначе как спятил. Я ведь ничего ему не сделал.

Когда Бук вернулся домой, жена гладила белье. Он рассказывал, а она все так же молча гладила.

Он был оживлен и пытался ее рассмешить. Ему очень хотелось уладить эту историю.

Увидишь, все будет хорошо, сказал он и ушел к собакам. Чтобы не думать об ее страхе.

Через неделю молодой адвокат подготовил собственный документ и прислал Буку копию.

В этом документе опровергались все обвинения против Бука. От имени Бука в прокуратуру пошло ходатайство о прекращении производства по делу. Кроме того, адвокат от имени Бука составил жалобу на Альберта Баста.

Жена Бука спокойно прочитала документ и сказала: Ну что ж, будем ждать.

Примерно через месяц Бук получил уведомление, что производство по его делу прекращено.

Видишь, сказал он жене, все складывается удачно.

Издержки должен уплатить Альберт Баст, сказал адвокат.

Несколько дней спустя из хайденхаймской прокуратуры сообщили, что Альберт Баст психически ненормален.

Он не в своем уме, сказал Буков адвокат и зачитал соответствующую выдержку из документа прокуратуры: Согласно экспертному заключению налицо предпосылки применения ст. 51 п. I Уголовного кодекса.

Значит, никто ему не поверит? — спросил Бук.

Он психически ненормален.

Он не в своем уме, рассказал жене Бук. Представляешь — не в своем уме.

Однако, поскольку Альберт Баст подпал под ст. 51, Буку пришлось самому уплатить судебные издержки.

Молодой адвокат согласился на рассрочку.

Все складывается удачно, сказал Бук жене.

Я же знаю, сказала она, никаких проступков за тобой нет.

Она усмехнулась, показав красивые белые зубы.

С тех пор жизнь у них вновь потекла спокойно и размеренно. Дети приносили хорошие отметки, младшая девочка уже научилась в детском саду писать свое имя. Бук с женой старались все забыть.

Через месяц-другой жена Бука, вернувшись из парикмахерской, сказала: Они знают.

Бук не сразу понял, о чем это она.

Они так меня выпрашивали, сказала жена. Вид у нее был испуганный.

Бук покачал головой и удивленно проговорил: Ведь столько времени прошло...

Земля слухом полнится, сказала жена, и Бук увидел, что она, того и гляди, заплачет. Он взял ее за руку, но она ее отдернула.

Ведь все это кончилось, сказал Бук, навсегда.

Он надеялся, что мало-помалу она успокоится.

Но однажды утром в дверь стучат двое мужчин; открыла им жена Бука.

Доброе утро, здороваются они. Мы из уголовной полиция Брауншвайга. И, не дожидаясь вопросов, предъявляют свои удостоверения.

Им нужно поговорить с Буком.

Жена Бука впускает их в дом, а сама в испуге стоит у дверей гостиной, когда они подходят к Буку и спраши-

вают: Где вы находились шестого августа сего года?

Секунду ее муж с изумлением смотрит на них, потом начинает смеяться и протестующе вскидывает руки: Неужто опять, неужто опять...

Полицейские удивлены. Оборачиваются к жене Бука, но та словно онемела.

Бук достает из ящика бумагу хайденхаймской прокуратуры, показывает им.

Видите, у него статья, он не в своем уме.

Бук деловит. Как будто бы даже весел. Ему чуть ли не доставляет удовольствие наконец-то разъяснить все полицейским. Он приглашает их сесть, зовет и жену, но она не хочет, остается на пороге.

Вот, значит, как, говорят сотрудники уголовной полиции.

Но тем не менее просят Бука сообщить, где он находился шестого августа.

Прошла уже не одна неделя, отвечает Бук, я не помню. Вот первого августа мы всей семьей были на собачьей выставке.

Шестое августа — какой это день? — спрашивает он у жены.

Та качает головой.

Бук допытывается, в чем дело на сей раз.

Чиновники недовольны тем, что сказал им Бук. Уже направляясь мимо его жены к выходу, они спрашивают: Верно ли, что Бук якобы пристукнул и изнасиловал старуху, а вдобавок сжег пятнадцатилетнюю девчонку.

Бук видит, как жена зажимает ладонью рот, в глазах ее ужас, который пугает его.

Он ведь не в своем уме, говорит Бук ей, у нас есть документ.

Нам известно, что он невменяем, говорит Бук, никто ему не поверит.

Жена весь день не разговаривает с ним.

Суббота, и Бук старается помочь ей с домашними хлопотами. Детям он говорит: Мама неважно себя чувствует.

Нас это не должно трогать, говорит он жене. Мы же знаем: это вранье.

Ты никогда не бывал в Тюбингене? — говорит ему жена, на сей раз это вопрос.

Господи! — кричит Бук. Он больше не в силах сдержи-

вать крик.

Два дня спустя является еще один полицейский. Бук открывает сам. И тотчас говорит: Я уже все сказал вашим коллегам.

Он не хочет впускать полицейского.

Я по другому делу, говорит тот.

Он предъявляет удостоверение, хочет пройти в дом. Жена Бука молча стоит у него за спиной в темной передней.

Бук не знает, что делать.

Где вы находились два года назад двадцатого октября? — спрашивает сотрудник уголовной полиции.

Бук видит в передней жену, похожую на тень, она зажимает ладонями рот. Силы изменяют ему. Он начинает кричать, как несколькими днями раньше кричал на жену.

Полиция, между прочим, обязана знать, что у Альберта Баста эта самая статья! — рычит он.

Он не в своем уме! Никто ему не верит!

Полицейский невозмутим. Через Буково плечо глядит на его жену в передней.

По нашим сведениям, два года назад двадцатого октября вы вместе с женой похитили и убили восьмилетнюю Сабину Шмидт из Любека, говорит он.

Бук слышит, как жена давится, точно от рвоты. Он поворачивается к ней, хочет обнять, но она бежит в ванную и запирается там.

Бук тотчас думать забыл о полицейском. Он стучит в закрытую дверь ванной и говорит, говорит.

Зовет жену по имени.

Ну что ты? — повторяет он. Это же пустяки.

Он стучит в дверь, выкрикивает: Я беззащитен и безоружен. Ты слышишь? И он разводит руками, как человек, который вынужден признать себя побежденным.

Она не отвечает.

Через день-другой жена Бука забрала детей и уехала к своей матери. Когда Бук пришел с работы, в доме было пусто. На кухонном столе лежала оставленная ею записка. Она много чего передумала. Бук прочитал: Не хочу я кричать душой.

И вот Бук уже целый год живет здесь, в этом городке.

На жизнь зарабатывает продажей щенков и истреблением полевых. Люди ценят ухоженные лужайки.

Перед отъездом сюда он попытался вернуть жену и детей. Она не согласилась. И он бросил дом, уволился с работы и вместо всего этого подыскал себе укромное пристанище. Собак он взял с собой.

Бук чуждается людей.

Изредка к нему заходит темноволосая женщина, говорит: Из нас бы вышла хорошая пара.

Но Бук и слышать об этом не хочет, только машет рукой. С женщинами он больше не связывается.

Тем не менее порой он с удовольствием пускает ее в дом. Она согревает его, гладит ласково мягкими руками, вопросов задает мало, она спокойна и размеренна, как дни его жизни, — покуда вновь не постучат в дверь и не предъявят удостоверение, без всяких вопросов с его стороны.

Ну а все-таки, с какой бы стати Буку убивать женщин?

Промывочная фабрика

Вот увидишь, говорит Венцель, я получу работу. Никто не скажет, что от меня нет пользы.

Еще рюмочку? — спрашивает Лена.

Рюмка Венцеля еще и наполовину не опустела, он повторяет: Вот увидишь, Лена!

Брат Венцеля, Йохен, кивает Лене, та открывает бутылку, наливает Йохену, они чокаются.

Вот увидишь, говорит Венцель.

Лена ставит бутылку на стол, завинчивает крышку.

Время к полуночи, замечает Йохен.

Стало быть, увидим, роняет Лена. Венцель смотрит на нее, взгляд его неподвижен, и, когда он говорит, язык ворочается во рту тяжело, с трудом.

Пойду потихоньку, говорит Йохен.

Я поднимусь, уверяет Венцель, высоко поднимусь, Лена!

Лена пальцами гасит свечу на столе. Зачем тебе уxo-

дить? — спрашивает она Йохена. К пальцам у нее прилип воск, она соскребает его ногтями.

Я же способный, в конце-то концов, говорит Венцель, подавляя отрыжку. Лена скатала из воска шарик, отправляет его в рот, начинает жевать. Йохен щелкает зажигалкой, опять зажигает свечу.

Способный я или нет? — спрашивает Венцель, тербит Лену. Ты ведь моя жена. Я своего добьюсь, как добился Йохен.

На улице холодно, говорит Лена Йохену.

Мне остаться? Йохен кладет руку ей на колено.

Венцель этого не замечает. Лена берет со стола Йохену зажигалку, высекает огонь, держит зажигалку у самых глаз и пытается смотреть сквозь пламя. Ты не добьешься, говорит она.

Что тебе осталось, кроме как смириться? — вопрошает Йохен.

Я способный, защищается Венцель, образованный, вы это знаете не хуже меня.

Образованность нынче не в моде, а интеллигентки — люди неустойчивые. Йохен по-прежнему не убирает руки с Лениного колена; Венцель сидит на кушетке рядом с женой, склоняет голову Лене на плечо. Ты же веришь в меня? — спрашивает он.

Она кладет зажигалку на стол и расколотой спичкой начинает очищать ногти от воска.

Никакая проверка умственных способностей не поможет, говорит Йохен, если тебя внесли в списки бесполезных. Ты знаешь систему и должен примириться. Способные только мозолят глаза, и больше ничего.

Йохен неподражаем, произносит Лена.

Венцель с обидой убирает голову с ее плеча. Моя рюмка пуста, говорит он.

Еще? — спрашивает Лена. Венцель протягивает рюмку, Лена берет ее, ставит возле бутылки, наливает.

Возьми, говорит она. Он нагибается, придвигает рюмку к себе, чуточку расплескивает и рукой смахивает лужицу со стола. Йохен и Лена наблюдают за ним.

Давайте выпьем, предлагает Венцель, поднимая рюмку. За что?

За меня, говорит Венцель. И слышит смех брата.

Твое здоровье, Лена, говорит Йохен.

Лена встает и подходит к окну. Открывает одну створку.

Холодно на улице, замечает Венцель.

Лена высовывается наружу. Сколько грузовиков нынче в пути! Венцель слышит, как машины едут мимо.

Тебя даже шофером не возьмут на дальние рейсы, говорит Йохен, если узнают о твоих странных воззрениях.

Земля круглая, бросает Венцель.

Была. Когда-то, произносит Лена, не поворачивая головы.

Сегодня его проверяли, КИ* слишком высок: Венцель опасен для общества.

Перед законом все мы равны, замечает Венцель.

Ничего не поделаешь.

Шансов у него больше нет, говорит Лена. Завтра повезут на промывку. Хорошо еще, меня не тронули.

Она закрывает окно, возвращается к столу и останавливается за спиной Венцеля. Сколько народу в пути... Может, кофе сварить? Не глядя на Венцеля, она массирует ему затылок.

Йохен закуривает, подходит к Лене. Становится рядом. Ты что, грустишь об этом? Средним и указательным пальцами он сжимает сигарету, а большим и мизинцем мягко обхватывает ее затылок.

В чем дело? — спрашивает Венцель. Меня ведь завтра не хоронят?

Он не видит этих двоих, брата и жену, зато слышит звонок у двери и говорит: Звонят.

Йохен выпускает Лену. Иди открой.

Лена спешит в переднюю. В глазок она видит, что у двери стоит женщина, молодая, хорошо одетая.

Лена ее не знает, но догадывается, зачем она пришла, поэтому отпирает дверь.

Уже? — спрашивает Лена.

Женщина называет себя: Ирина Шульц, я к вам. Не снимая пальто, она входит в квартиру, и Лена ведет ее в гостиную к Венцелю и Йохену.

Венцель словно не замечает ее. Йохен смотрит на Лену, потом на женщину, потом на часы. В такое время? — удивленно говорит он и, добавив: Я не Венцель, кивает на брата,

* Коэффициент интеллекта.

который сидит на кушетке.

Она из Управления, объясняет Лена.

Пациенты должны к нам привыкнуть, говорит Ирина Шульц, потому я и пришла сейчас, заранее.

Венцель упорно глядит куда-то мимо нее; один только Йохен ничуть не боится. Хотите вина? — спрашивает он вновь пришедшую. Лена без промедления достает чистую рюмку.

Садитесь же. Йохен пододвигает Ирине Шульц кресло, наливает вина.

Вы способная? — спрашивает Венцель, впервые взглянув на нее.

Вы сразу нашли нас? Мы ведь так и не переехали в город, остались здесь, потому что Венцель, мой муж, так решил.

Сигарету? Йохен протягивает ей раскрытую пачку. Потом щелкает зажигалкой.

Давайте выпьем, предлагает Венцель и чокается с гостьей. Выпьем за мои способности.

Лена испуганно одергивает его, но он видит, что Ирина Шульц улыбается. Она не из таких, говорит он, поднося рюмку к губам.

Постарайтесь понять его, говорит Йохен. Он знает, что проиграл.

Так я сварю кофе? — опять предлагает Лена. Женщина и Йохен согласно кивают, и Лена идет на кухню. Йохен придвигает свое кресло поближе к Ирине Шульц. Венцель вновь поднимает рюмку, и Йохен укоризненно машет рукой.

Перестань глупить, говорит он брату.

А что, не я первый, не я последний, замечает Венцель.

Не трогайте его, пусть говорит, вмешивается Ирина Шульц, от этого легче.

Она сидит в кресле, положив ногу на ногу, пьет, курит, словно все идет как надо.

Часто вы так? — спрашивает Йохен.

Это моя профессия, отвечает она.

Я имею в виду, говорит Йохен, часто ли вы появляетесь уже в полночь, а люди еще не спят и приглашают вас в дом?

Входит Лена с подносом, кофейником и чашками.

Конечно, говорит гостя, последний вечер мы проводим все вместе.

Венцель наблюдает за Леной: та идет к столу, опускает на него поднос, снимает чашки и кофейник. А Венцель неожиданно обращается к Йохену: Она все еще в пальто.

Йохен вскакивает: Разрешите помочь! И берет у нее пальто. Лена наливает кофе, придвигает Ирине Шульц молочник и сахарницу. Прошу вас!

Венцель ни с того ни с сего раздражается смехом. Я способный, заметно, а? Так и есть. И мог бы на этом заработать кучу денег, Лена!

Он хватается Лену за руку, сжимает. Лена, иди сюда, Йохен занят!

Лена пытается вырвать руку, но Венцель не пускает, притягивает ее к себе на кушетку.

Глаза его следят за братом: Йохен ухаживает за молодой женщиной — наливает ей в кофе молока, спрашивает, нужен ли сахар. Тесно прижав к себе Лену, Венцель ощущает тепло ее тела.

Я пробьюсь, говорит он, если мне дадут хотя бы один шанс.

Так все говорят? — любопытствует Йохен.

Лена учащенно дышит. Берет со стола чашку, подносит Венцелю. Пей. Он отталкивает ее руку, кофе расплескивается.

Выпил лишнего, оправдывается Лена.

Ничего, отвечает Ирина Шульц и берет у Йохена еще одну сигарету. Так даже проще.

Лена осторожно прихлебывает горячий кофе. Глядит на Йохена. Венцель знает, ей стыдно за него.

Все мы сегодня вечером пили, роняет Йохен.

Может, стоило бы приоткрыть окошко, говорит Ирина Шульц.

Йохен идет к окну, открывает. Хорошая штука — свежий ветер. Он неловко смеется и продолжает: Может, уложим Венцеля на кушетку? Он же едва на ногах стоит.

Венцель не протестует, когда Лена, чуть отодвинувшись, укладывает его ноги на кушетку.

Мне не страшно, говорит он.

Потолкуем о чем-нибудь другом, предлагает Ирина Шульц.

Лена снимает с Венцеля ботинки и носки. Он чувствует ее холодные пальцы.

Может, разотрешь мне ступни, говорит он.

Лена медлит: Не знаю.

Делайте, как он просит, кивает гостя и, повернувшись к Йохену, спрашивает: Можно еще глоточек?

Он дотягивается до бутылки, открывает ее и наливает сначала Ирине Шульц, потом себе. Когда он уже собирается завинтить крышку, Лена тоже подставляет рюмку.

Выпейте, говорит Ирина Шульц, вам нужно.

Йохен наливает Лене, а она меж тем растирает ноги Венцеля. Он положил голову на подлокотник кушетки и закрыл глаза.

Ему хорошо, говорит Ирина Шульц.

И часто вам приходится вот так выезжать? — спрашивает Йохен.

Венцель дышит спокойно и ровно. Слышит голос Лены: Он спит.

Она выпускает его ноги, встает, идет к Йохену и присаживается на подлокотник кресла.

Венцель мысленно видит, как она кладет руку на спинку кресла, слегка касаясь грудью Йохенова плеча, и слышит очередной вопрос брата: Вам разрешено говорить об этом? Я имею в виду, о промывочной фабрике.

Мне было бы интересно, вставляет Лена.

Голос молодой женщины звучит мягко и приятно: Секрета здесь нет, я знаю об этом не больше вашего, так как сопровождаю его только до ворот. Он проедет через промывочную на своей машине и обретет счастье.

Не знаю, говорит Лена, я в это почти не вникала.

Венцель не открывает глаз. С языка готово сорваться: вы должны мне помочь! В голове теснятся образы, картины, знакомые по рассказам матери. Будь доволен, говорила она, твое детство прошло не в подземных каналах. Ты удачливый, не то что я. У тебя есть будущее.

И вот это будущее наступило.

Выбор пал на него, произносит Лена, но мне все равно непонятно.

Венцель вспоминает: я аккуратно хожу на выборы и каждый день в супермаркет. Из меня наверняка выйдет толк.

Толку из него не вышло, говорит Йохен.

Когда он впервые потерял работу, мы все ему сочувствовали, во второй раз — постарались выискать оправдания, но уж на третий раз волей-неволей насторожились. Он не мог подчиниться установленному порядку.

Ему предлагали то одну работу, то другую, а он был недоволен.

Взять хотя бы этот дом, продолжает брат, никто не остался тут, в развалинах, когда выстроили скоростную магистраль. Второго такого упряма не нашлось.

Венцель слушает, он немного расщурил глаза и видит их: вон они сидят. Гостья положила ногу на ногу, на ней чулки-паутинка, туфли на высоких каблуках. Йохен гладит Лену по руке, она склонила голову ему на плечо.

Ирина Шульц соглашается с Йохеном: Только в процессе работы можно установить, соответствует ли данный человек нашим нормам. Но не пугайтесь, оборачивается она к Лене, мы не причиним ему боли. Все будет хорошо. А возврат в производственный цикл, знаете ли, необходим.

Венцель видит, как рука Йохена скользит от Лениного плеча к колену. Скажи спасибо, что у него хоть машина есть. Представляешь, если б у него и машины не было ехать на промывку.

Лена кивает.

Венцель встает. Лена пугается.

Я решу для тебя, Лена, квадратуру круга, говорит Венцель.

Его не удивляет, что Лена раздражается слезами. Йохен и тот не может ее успокоить.

У нас еще куда ни шло, замечает он, жизнь сносная.

Перестаньте плакать, говорит Ирина Шульц. Ему от этого только тяжелее. И Лена затихает. Тыльной стороной руки она утирает глаза и щеки, вскидывает голову, сжимает губы. Сейчас пройдет, бормочет она.

Соскользнув с подлокотника, встает рядом с Йохеном, поправляет волосы.

Йохен берет ее за руку. Все забудется, говорит он.

Венцель поднимает со стола бутылку, глядит на свет: проверяет, сколько осталось.

Хотите? — спрашивает он молодую женщину, которая

пришла за ним. Та отрицательно мотает головой, и он наливает одному себе.

Светаает, говорит Лена, отходит к окну. Можно закрыть? — спрашивает она, обернувшись к Ирине Шульц.

В комнате стало свежо.

Закрывают, отвечает Ирина Шульц, и так уже пора.

Звонит телефон, она идет к аппарату, снимает трубку.

Да, мы готовы.

Йохен и Лена неподвижно глядят на Венцеля.

Ирина Шульц зажигает верхний свет, направляется к Венцелю. Нам пора, говорит она.

Иди сюда, Лена. Венцель тянется к жене. Она подходит ближе, послушно садится на кушетку.

Мне страшно, шепчет он ей на ухо.

Поверх ее плеча ему видны Йохен и Ирина Шульц: стоя друг возле друга, оба смотрят на него.

Не надо бояться, слышит он. Вы обретете покой и счастье.

Но я и без того счастлив, протестует Венцель. Мы с Леной... у нас было все, что нужно для жизни.

От тебя не было толку в производстве, замечает его брат Йохен. Ты не справлялся.

Он чувствует, как Лена высвобождается из его объятий, как Ирина Шульц берет его за руку и ведет за собой.

Идемте, говорит она, я расскажу вам, как это происходит. Отсосы работают мягко, вода в стирающих форсунках в меру горячая, пенистым шампунем можно бы вымыть голову, а в сушилке уютно и тепло, об удушливом зное даже речи нет.

Он видит Лену, она стоит рядом с Йохеном, сцепив руки, сгорбившись. Йохен обнимает ее за плечи.

Но я не хочу! — кричит Венцель, вырывает у женщины руку, бежит назад к столу, хватает бутылку, швыряет ее в окно, слышит звон стекла.

Голос Ирины Шульц мягок и приятен: Дайте мне ключи от машины. Думаю, вам нельзя сейчас садиться за руль.

Они у него в кармане пальто, говорит Лена. Йохен убирает руку с ее плеча, идет в переднюю, приносит Венцелю пальто. Лезет в карман, вынимает ключи и подает Ирине Шульц.

Она улыбается Венцелю: Идемте.

Может, это и вправду не так уж плохо! — восклицает Венцель.

Это плохо? — спрашивает Лена.

Ирина Шульц по-прежнему терпеливо мотает головой. Я ведь сказала.

Венцель покорно шагает к двери. Ирина Шульц держит его под руку, Лена и Йохен идут следом. Ирина Шульц пропускает Венцеля вперед, на лестницу.

Не бойся, говорит Йохен, о Лене я позабочусь.

Они стоят на пороге, Венцель смотрит на них, переводит взгляд на лестницу, делает несколько шагов вниз по ступенькам, затем слышит голос Лены: А что будет со мной?

Ирина Шульц оборачивается. Мы незамедлительно вышлем вам справку о вдовстве. Эта промывочная фабрика — скоростная. Следом за Венцелем она спускается вниз.

Кукольное личико

Мартин нашел ее слишком поздно. В последнюю минуту она, видимо, пыталась позвать на помощь. Снятая с аппарата трубка качалась на шнуре. Ингрид ничком лежала на ковре и дышала так слабо, что Вольфгангов брат подумал: уже умерла.

Он вызвал «скорую помощь» и полицию. Но в больнице для Ингрид тоже ничего сделать не смогли. Не приходя в сознание, она скончалась вскоре после того, как ее доставили в отделение интенсивной терапии.

Смерть ее была нелегкой. От чрезмерной дозы наркотика умирают в мучениях.

Прежде чем потерять сознание, она, видимо, на секунду отчетливо поняла, что нуждается в помощи.

До этого Ингрид ни разу помощи не просила. Никто знать не знал, что она колет себе героин. Все думали, что живет она хорошо, безропотно дожидаясь, когда Вольфганг выйдет из тюрьмы.

О своих трудностях она даже не заикалась. А от депрес-

© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1976

сий домашний врач прописал ей валиум.

Больше года Ингрид раз в месяц ездила в Штраубинг на свидание с Вольфгангом. Она часто о нем говорила, и всем было ясно, что она от него не откажется. Никто словно и не замечал, что после ареста Вольфганга она сильно похудела (мертвая, Ингрид весила всего-навсего девяносто фунтов).

Только с ее смертью родня испуганно зашевелилась. Ей надо было выговориться.

Что ж она Вольфгангову брату ни слова не сказала? Он же был ей ближайшим другом.

Разбирая оставшиеся после Ингрид вещи, Мартин наткнулся на дневниковые записи. Разрозненные листы почтовой бумаги, исписанные круглым детским почерком. Почерк воскресил в памяти ее правильное кукольное личико и светлые волосы, которые она каждый месяц подкрашивала, чтобы сохранить тот цвет, какой у них был в детстве.

Вообще-то нужно было собрать записи и спрятать до возвращения Вольфганга. Но, начав раскладывать их по порядку, Мартин уже не смог остановиться.

Он сел в гостиной на кушетку, поблизости от того места, где на прошлой неделе обнаружил Ингрид, и стал читать. Первая запись была сделана два года назад.

Понедельник, 2 июня

Как бы я хотела вернуть защищенность и покой прежних дней. Все теперь не так, как вначале. От моей тогдашней мечты ничего почти не осталось. Оглядываясь назад, я говорю себе: у нас хватило решимости, но потому только, что мы не знали страха, не догадывались, что нас ждет. Бух! — прыжок в ледяную воду.

Надо рискнуть и прыгнуть, говорила я Вольфгангу, а то я даже и не знаю, умеем мы плавать или нет.

Плавно и мягко войти в воду — вот как я это себе представляла. Вытянувшись в струнку, энергично, с задором.

Сил и энергии у нас достаточно, твердила я, ну какие наши годы — двадцать с хвостиком. Проморгать такой шанс непростительно.

Я вообще много говорила, пока мы не купили наконец хутор. Я понимала, звезды сами с неба не посыплются. И твердо намеревалась их достать. Но теперь, через полто-

ра месяца после покупки, я говорю себе: мы выдыхаемся. Когда Вольфганг вечером заезжает за мной в контору, я с ног валюсь от усталости. И он тоже. Потом мы вместе едем за пятьдесят километров от города и возвращаемся лишь около полуночи.

Старый дом стоит поодаль от других дворов. На участке громоздится материал, необходимый для ремонта.

Сами все сделаем, говорила я. И без звука бралась за любую работу. Раньше я понятия не имела, как клеят обои, а сейчас и раствор приготовлю, и уровнем пользоваться научилась. От меня пахнет потом, и спина болит.

Вот закончим с ремонтом и откроем собственное дело. Будем моделировать и шить одежду, а моя подруга станет продавать ее у себя в магазинчике.

На первых порах по дороге домой я с упоением рассуждала на эту тему: до смерти усталая, сидела рядом с Вольфгангом в машине и знай строила планы.

Вчера вечером я уснула. А он курил, одну сигарету за другой.

Всё нам теперь в тягость.

Вторник, 10 июня

Банк отказал нам в увеличении кредита. Об этом мне сообщил Вольфганг, когда после работы заехал за мной в контору.

Там ничего больше не получить.

До сегодняшнего дня все как-то улаживалось, заметила я. Почему же на сей раз непременно сорвется?

Вольфганг явно нервничал и был не в духе. Ты не представляешь, сколько у нас долгов, сказал он.

Среда, 11 июня

Мы поссорились. Он вдруг как рявкнет на меня. Господи, до чего я ненавижу, когда он орет. Прямо хоть беги. Когда он орет, мне страшно. И ничего тут не поделаешь. Сегодня я стала красить одну из дверей. Так у нас было решено. А теперь он и слышать об этом не желает. Дурой безмозгой меня обозвал.

Как я его ненавижу. Но вот он обнимает меня за плечи, я утыкаюсь лицом в его свитер, закрываю глаза, и все

куда-то исчезает: и цементная пыль, и запах эмалевой краски.

Пятница, 13 июня

Сегодня по почте пришли два платежных приказа. Я все-таки еще раз попытала счастья в банке. Денег больше не дадут. Молодой человек из кредитного отдела сказал, что с погашением задолженности мы тоже отстаем. Я рассказала все Вольфгангу. Он промолчал.

Почему мы отстаем с погашением задолженности? Мы же договорились, что финансы ты возьмешь на себя. Он не ответил.

Сегодня мы впервые за много недель никуда не поехали, сидим дома перед телевизором, Вольфганг тупо глазеет на экран.

Ты вообще слушаешь, что я говорю?

Отвяжись от меня, бурчит он.

Когда мы купили дом, у меня и в мыслях не было, что он нас сломает.

Понедельник, 16 июня

Вольфганг изменился.

Может быть, снова взялся за порошок. Два года ни он, ни я даже марихуану не курили. Не хотелось.

Спросить не могу, сам он молчит. Мы вообще стали очень немногословны, говорим друг с другом через силу. Я иногда сижу с ним рядом в машине, а его не чувствую, словно обок со мной пустота.

Ночью мы поворачиваемся друг к другу спиной. Я устала. И уже не огорчаюсь, когда, погасив свет, он отодвигается от меня.

Четверг, 19 июня

Вольфганг толковал о том, как бы достать денег. Я не слушала. Оказывается, он знает человека, которому нужен героин.

Я не хочу, чтобы он торговал наркотиками.

На этом можно заработать кучу денег, сказал он.

А что будем делать с платежными приказами? — спросила я.

Он не нашелся что ответить.

Воскресенье, 22 июня

Иногда я спрашиваю себя, есть ли вообще смысл оставаться вместе.

Обедали у его матери. Встретили там Вольфгангова брата. Обсуждали наш ремонт.

Ясное дело, все идет как по нотам, объявил Вольфганг.

Его мать отлично готовит; мало где отведаешь теперь такие клецки из тертого сырого картофеля.

Вольфганг толком не притронулся к еде.

Ты почему не ешь? — спросила его мать. Плохо себя чувствуешь?

Тревожится за сына. Велела мне следить, чтобы он как следует питался.

Вольфганг рассказывал, сколько у нас возни с ремонтом.

А денег-то вам хватает? — поинтересовался Мартин.

Надо думать! Вольфганг словом не обмолвился о погашении долгов, о счетах и платежных приказах. Мне говорить о них не хотелось. Финансы — его епархия. Я не могу думать еще и об этом.

Всё нам теперь в тягость.

Сегодня вечером я ему сказала: Поговори с братом. Гордость тебя погубит. Ты только заикнись. Брат поможет.

Он не послушал меня. Он ничего не слушает.

Ты что, связался с наркотиками? — спросила я.

Он прямо вскипел, но я не отставала: В чем дело, а? Ты должен что-то предпринять, покуда к нам не зачастили судебные исполнители и не понашлепали кругом своих печатей... Нельзя же тупо сидеть и ждать у моря погоды. Нельзя.

Могу и уйти, бросил он.

Я вообще отказываюсь тебя понимать.

Куда он ушел, не знаю. Я легла, а сна не было. Конечно же, завтра он вернется. Не сбежит. И вот я сижу тут и пишу, потому что не в силах спать, когда его нет рядом.

Понедельник, 1 июля

Обо всем этом так трудно рассказывать.

Придется начать с самого начала, а то я вообще не соберусь с мыслями. Я как больная. Просто уму непостижимо. Он ведь не был под кайфом. Полиция говорит, что

он не наркоман и наркотиков при нем не обнаружено.

Утром он позвонил мне в контору и сказал: Сегодня я не смогу за тобой заехать, машина барахлит.

Что с ней?

Мотор не тянет, объяснил он.

Но ехать надо, сказала я, мы ведь целых три дня там не были.

Мотор не тянет, повторил он.

Тебе просто неохота, сказала я, вот и норовишь увильнуть. А как же наши планы?

До чего здорово было мечтать и строить планы.

Он повесил трубку.

Обо всем этом так трудно рассказывать. Конечно, я могла бы это предвидеть.

После работы я пошла домой. Ждала его. Думала, придет домой совершенно в кусках. Он не пришел.

В девять задребезжал дверной звонок. Сейчас вспомню, как все было. По телевизору только-только начался детектив. Открывать я пошла не сразу. Пускай подождет. А вот когда позвонили вторично, я встала.

Нашел дурочку — сидеть тут и ждать!

У дверей стояли двое полицейских, и на секунду у меня мелькнула мысль, что Вольфганг попал в аварию. Я вообразила себе автомобильную катастрофу. И чуть не расплакалась, так мне стало страшно. Белая больничная палата, и он на койке — эта картина молнией сверкнула перед глазами.

Аварии не было.

Полицейские начали расспрашивать о Вольфганге. Но, заметив, что я ничего не знаю, прекратили расспросы.

Он, видно, думал, что первого числа в кассе полно деньжищ, сказал пожилой. Мы его в два счета сцапали.

Недалеко ушел.

Так ведут себя только новички.

С испугу я молчала. Сперва в голове вообще все перепуталось. Ощущение было такое, как на отдыхе: вылезешь на берег, в ушах вода, а Вольфганг в это время что-то говорит. Ну ничегошеньки не понять.

В два часа дня, натянув на лицо чулок, он совершил налет на отделение Коммерческого банка.

Пистолет-то был игрушечный, сказал полицейский по-

моложе. Тут же, возле банка, мы его и арестовали. Прямым на нас вышел — только хватай.

Не понимаю: зачем ему этот налет на банк?

Чулки он купил нынче утром у «Тенгельмана».

Я чулок не ношу.

Господи, говорю, я этого не понимаю.

Как же трудно думать об этом. И что делать — ума не приложу.

Полицейские спрашивают, знала ли я про это.

Он ведь явно спланировал налет заранее?

В последнее время, сказала я, мы почти не разговаривали друг с другом.

Вторник, 2 июля

Нас обоих доставили в полицейский участок. Им понадобились мои показания.

В первую минуту я не узнала Вольфганга. До сих пор такое чувство, словно в ушах полно воды. Не хочу слушать, и все.

Лицо у Вольфганга хмурое, землистое. Он изменился.

Потом я разглядела на его запястьях наручники, и это меня доконало.

Я не видел выхода, сказал Вольфганг.

Он говорил о десяти тысячах марок долга, о погашении кредита, о счетах, о платежных приказах.

Действие в состоянии аффекта, произнес у меня над ухом какой-то полицейский чин.

Такая пустота внутри.

Среда, 3 июля

Звонил его брат. Сказать мне было почти нечего. Вольфгангова мать встревожена.

Надо, чтоб и о тебе кто-то позаботился, сказал Мартин. Выше нос, насчет Вольфганга мы что-нибудь да придумаем.

Для меня Вольфганг далеко-далеко. Ночами я совсем не сплю. Не успею задремать и тотчас вскакиваю. И все думаю, думаю. Прикидываю: может, лучше умереть или еще что сделать.

Тебе нельзя оставаться одной, сказал его брат. Адвоката Вольфгангу я уже организовал.

Он знает, что делать.

Может, ты знаешь, что делать мне?
Домой тебе надо, сказал он.
Я и так дома.
К маме, сказал Мартин, ты больна.

Был уже поздний вечер, когда брат Вольфганга аккуратной стопкой сложил прочитанные листки рядом с нечитаными. Нелегко оторваться от заметок Ингрид и поехать домой, к жене, которая обязательно спросит: Что ж ты нашел в ее вещах?

Помедлив, он ответит: Дневник. Он побаивался ее любопытства.

Никто из них знать не знал, что Ингрид вела дневник.

Кой-какие эпизоды Мартин помнил, в том числе телефонный разговор, о котором только что прочел.

После ареста Вольфганга Ингрид была на грани нервного срыва.

Скажи он хоть слово, я бы немедленно выручил его деньгами.

На это Ингрид вообще никак не отреагировала.

Хочешь не хочешь, а пришлось отвезти бедняжку к ее матери. Там она была в хороших руках. А его жена с нею не ладила.

Ингрид была не из тех девушек, что любят порассуждать о воспитании детей и свято верят: чтобы двигаться вперед, необходимо иметь перед собою цель.

При таком легкомыслии она еще на редкость дешево отдалась, сказала его жена.

Его самого Ингрид как жена брата вполне устраивала. Но особого интереса не вызывала. Кукольное личико, какими пестрят страницы модных журналов. Она казалась ему пустышкой, поверхностной.

Пятница, 12 июля

Говорят, я была больна. Сегодня утром, сидя у окна, я смотрела на улицу. Светило солнце.

Наверное, было жарко, одетые по-летнему школьники спешили домой. Мчались сломя голову по дороге и кричали, а я испугалась.

Отвернувшись от окна, я увидела маму, она стояла у меня за спиной. Печальный взгляд, ласковый голос.

Тебе лучше, душенька? — спросила она и потрепала меня по плечу.

Врач делал тебе уколы, чтоб успокоить нервы.

Волноваться мне противопоказано.

О Вольфганге она словом не обмолвилась. Когда я спросила о нем, она молча продолжала чистить картошку, а потом стала жаловаться на дороговизну. Пенсия, которую ей назначили после смерти отца, не больно-то велика.

Я была у твоего шефа, рассказала она, тебе дали больничный. Врач говорит, недели через три-четыре все пройдет. Как ты себя чувствуешь, душенька?

Мне хочется снова сесть к окну и глядеть на улицу. Невольно вспоминаю распахнутые окна Старого города, где женщины, положив на подоконник подушки, смотрят наружу.

Суббота, 13 июля

Вольфганг сидит в следственной тюрьме. До слушания дела, вероятно, пройдут месяцы. Сегодня меня навестил Мартин. Он нашел Вольфгангу адвоката.

Вы с Вольфгангом в последнее время не очень ладили, сказал он.

Мы перестали понимать друг друга, ответила я.

Слишком большая нагрузка, сказал он, вы просто надорвались, купив этот дом.

Он нас предупреждал: прыжок в ледяную воду.

Господи, нас снесло течением. Поначалу все казалось так просто. Я была уверена, что нам обязательно повезет. Ясное дело, звезды сами с неба не посыплются. Плавно и мягко войти в воду — вот как я это себе представляла. Вытянувшись стрункой, энергично, с задором. Откуда мне было знать, что течение затащит нас?

Если хочешь с ним повидаться, сказал его брат, проси разрешения на свидание. Тебе можно навещать его раз в две недели на пятнадцать минут. Поедешь?

Понедельник, 15 июля

Другим бывает и хуже. Пора и об этом подумать.

Четверг, 18 июля

Конечно, можно взять веревку и повеситься.

Суббота, 20 июля

Что толку, если я так сделаю?

Воскресенье, 21 июля

Брат Вольфганга сам напечатал на машинке прошение насчет свидания и привез мне. Не хватало лишь моей подписи. Он через стол подвинул ко мне бумагу и показал пальцем, где подписать. Я замешкалась, потому что едва не вывела свою девичью фамилию.

Но даже виду не подала, что растерялась.

На скорый ответ не рассчитывай. Им спешить некуда.

Он предложил мне съездить на озеро с его женой и детьми. Лето в разгаре.

Не представляю себе, чтоб я сидела на берегу, ныряла, плавала.

Мама стала меня уговаривать.

Нет, сказала я, это невозможно.

Нарочно не спросила сегодня Мартина о Вольфганге.

Голос у мамы по-прежнему очень ласковый.

Вторник, 23 июля

Вольфганг прислал письмо. Я его не распечатываю. Боюсь.

Пятница, 26 июля

Сегодня от Вольфганга опять пришло письмо. Не распечатывая, положила вместе с первым.

Мама все знает, но молчит. Один только раз вечером она сердито воскликнула: Что он с тобой сделал!

Мне стало жаль себя, а слез не было.

Мама говорить о Вольфганге не желает.

В понедельник выхожу на работу.

Такая пустота.

Понедельник, 29 июля

Будто сквозь строй прогнали. Все всё знают. В упор меня разглядывали, и если б только это!

За моим столом сидела новенькая.

Мы ведь не могли отложить вашу работу, объяснил шеф.

Вы долго болели.

И он послал меня в экспедицию: Пока не поправитесь

окончательно. В такой ситуации вас нельзя перегружать.

Я бы не задумываясь подала на развод, сказала одна из сотрудниц постарше.

Девушка, которая раньше сидела напротив меня, спросила: Ты весь разведешься, да?

Этот инцидент — достаточное основание для развода, они узнавали.

Ничего сложного, говорили они. Вольфгангу, вероятно, не разрешат даже появиться на бракоразводном процессе.

Слушая эти разговоры, я печатаю в экспедиции реестры. От Вольфганга пришло третье письмо, читать его я не хочу.

Четверг, 1 августа

Прислали разрешение на свидание. Звонил Вольфгангов брат. Считает, что мне надо связаться с адвокатом.

Когда ты поедешь к Вольфгангу? — поинтересовался он.

Я ответила, что пока не решила.

Помолчав, он чуть ли не боязливо спросил: Ты ведь не бросишь его в беде?

А зачем же он это сделал? Просто в голове не укладывается. Такая пустота внутри, понимаешь? Все будто выгорело дотла.

Ты нужна ему, сказал его брат.

Суббота, 10 августа

Я все-таки поехала. Потому что не знала, какое принять решение. И это меня доконало. Сущий кошмар.

Мне велели сдать паспорт и сумку и пройти «просвечивание». Затем, в поисках комнаты для посетителей, я поспешила за другими женщинами.

Четверть часа, думала я, это ведь недолго.

Комната, где собрались посетители, была переполнена, и нас вызывали, как у зубного. Прислонясь к стене, я ждала, когда освободится стул, потом ждала своей очереди. На часы я не смотрела, но, вернувшись от Вольфганга, обнаружила, что пробыла в тюрьме два часа. Чиновник выкрикнул мое имя. Вместе с еще двумя женщинами я прошла в комнату свиданий. Искала среди чужих лицо Вольфганга. Страшно — вдруг я забыла его? Кругом людские голоса. Шумно.

Полицейского возле второй двери я заметила, только

когда ввели Вольфганга. Он сразу меня увидал. А я не решилась пойти ему навстречу. Мы пожали друг другу руки, словно встретились впервые.

Четверть часа — это недолго, надеялась я.

Мы спросили друг друга, как дела. Сели за один из небольших столов. Вольфганг здорово похудел.

Тебе хватает еды? — спросила я.

И не спросила: Зачем ты это сделал?

Я боялась, что он до меня дотронется.

Я вышла на работу, сказала я ему.

Ты получила мои письма? — спросил он.

Получила.

Трудно разговаривать. Чужие голоса и лица смущают меня. Не зная, что сказать, я ждала, когда наконец пройдут эти пятнадцать минут.

Вольфганг потянулся ко мне рукой. Потянулся через деревянную столешницу, скользнул пальцами по тем местам, где лак облупился и кто-то из наших предшественников вырезал всякие буквы и знаки.

Я не решилась отпрянуть и почувствовала, что ладонь у него влажная от пота.

Он произнес мое имя и заплакал.

Воскресенье, 11 августа

Как бы я хотела снова вернуть защищенность и покой прежних дней! Печали своей я не стыжусь.

Я прочитала его письма. Теперь я уже не могу сидеть сложа руки, не могу прятаться. По-моему, это было бы предательство, и много ли ребячливости в желании достать звезды?

Это касается лишь нас двоих.

Чего проще — задним числом сообразить, как нам можно было поступить. Налет на банк — это своего рода мечта об острове, где жизнь свободна от мелких будничных невзгод.

Я скучаю по Вольфгангову пропотевшему свитеру, и боль эта благотворна.

Если б все осталось как раньше, мы бы давно разошлись. Был ли у нас тогда хоть один шанс?

Течение несло меня к тому рубежу, который окончательно отрезал бы нас друг от друга, а я нисколько не противилась.

Нет, пишу я ему, не бойся, я тебя не брошу, ведь ты мне нужен.

Стоило тебе только заикнуться, и мы бы, конечно, пришли на помощь.

На самом деле, сраженные усталостью, мы гасили свет и поворачивались друг к другу спиной. И молчание dokonало нас.

Мне плохо без тебя.

Спустя столько времени так трудно найти нужные слова и выстроить их по порядку, чтобы ты меня понял.

Здесь регулярные записи оборвались. Брат Вольфганга разглядел прочитанные листки и подложил их к вчерашним. В руках у него осталась стопка чистой бумаги. На верхнем листе отпечатались строчки письма, которое Ингрид отправила Вольфгангу.

Может быть, письма заменили ей дневник.

Мартин вспомнил, что она регулярно, раз в две недели, навещала его брата и каждый день писала ему.

Он хочет видеть только меня, сказала Ингрид, когда он спросил, не хочет ли Вольфганг свидания с родными.

В декабре был суд, Вольфганга приговорили к пяти годам лишения свободы.

В зале суда Мартин сидел рядом с Ингрид. Ему хотелось поддержать ее.

Мы с Вольфгангом выдержим, сказала она.

Она надеялась, что, отбыв две трети срока, он попадет под амнистию.

В таком случае это всего три года, сказала она. И добавила: Мы не позволим нас разлучить.

Прямо как молоденькая девчонка, защищает свою любовь от посягательств взрослых.

Это наблюдение не ужаснуло Мартина. Они справятся, подумал он.

Вольфганга перевели в Штраубинг; Ингрид ездила туда раз в месяц.

В январе она продала хутор, чтоб расплатиться с адвокатом и покрыть судебные издержки. На себя она по-прежнему зарабатывала в конторе.

Ее счастье, что нет детей, сказала жена Мартина.

Ей Ингрид не нравилась. И до сих пор это ему не мешало. Он просто сидел и слушал, как жена наводит на Ингрид критику. Она бы рада жить, как Ингрид, да ведь трое детей на руках. Временами она принималась обвинять Ингрид в легкомыслии и черствой бездумности.

Она полагала, что Ингрид должна вести себя как вдова.

И злилась, когда брат Вольфганга вступался за невестку.

Мартин любил жену. С годами он привык к ней и считал, что так и надо. А о том, чтобы испытывать в ее обществе неуверенность, вовсе думать забыл.

В этот вечер она встретила его у двери вопросом: Ну, что ты нашел в ее вещах?

А что я должен был найти?

Поймав на себе ее пристальный взгляд, Мартин нервно провел рукой по волосам.

Она не сказала: У тебя на лице написано. Стала молча накрывать стол к ужину.

Брат Вольфганга и не подумал вникать в ее безмолвный протест. Он ел то, что она ему подавала, и размышлял о жене брата.

Он боялся следующего вечера в квартире Ингрид. В остальных записях наверняка обнаружится причина ее смерти.

Спрятаться от этого невозможно. Да он и не хотел.

Когда они с Ингрид впервые встретились на стороне, Вольфганг уже полгода сидел в Штраубинге.

Уговора у них не было.

Они случайно встретились в городе, и брат Вольфганга сразу заметил, что ей необходимо выговориться.

Врач прописал мне валиум, сообщила она.

Он расспросил ее про депрессию.

У меня все то вверх, то вниз, сказала она, в этом нет ничего особенного. Раньше депрессий у нее не бывало.

Они сидели в одном из этих новомодных кафе и пили плохонький черный кофе. Ингрид начала задумываться над происходящим. Она была в ужасе от того, что случилось с Вольфгангом.

После свидания со мной его обыскали, рассказала она. Велели раздеться догола, а он был возбужден.

Мартин написал брату: Надо бы оградить ее от подоб-

ных ужасов.

Поздно, они уже вошли ей в плоть и кровь.

Мне только и остается, что окружить ее заботой, сказал он жене и по вечерам изредка приводил Ингрид к себе домой. Ей нужно какое-нибудь пристанище, говорил он. Жена молчала.

Рождество они встретили вместе. Вольфгангу собрали посылку, и в первый день праздника Ингрид отвезла ее в тюрьму.

Пока она принимала валиум, все было хорошо. Лишь через девять месяцев после осуждения Вольфганга Ингрид вновь стала вести дневник.

Вторник, 11 января

Что проку навещать Мартина и его семью. Вернусь домой, а здесь все та же пустота. Я тону в тишине и не в силах обуздать страх.

Пятница, 14 января

Позвонила Мартину, и он тотчас предложил встретиться в городе. Я бы предпочла объяснить все по телефону, так было бы проще. Поэтому я не сразу ответила, когда он сказал: Давай встретимся после работы.

Возражений он и слушать не стал.

В шесть Мартин за мной заехал. Поставил машину возле нашей конторы, и все видели, как я в нее садилась.

Куда поедем? — спросил он.

У меня не нашлось ответа, и он, включив мотор, сказал: Поищем уголок поуютнее.

Я спросила о невестке.

Ей не на кого оставить детей, сказал он. Не стал говорить: Она не хочет с тобой встречаться.

Ведь говорить это было незачем.

Как дети? — спросила я, очень довольная, что нашла первую фразу.

Когда мы уселись за столик друг против друга, я сказала ему, что больше не приду к ним.

Бессмысленно, сказала я, рассуждать о вещах, которые на самом деле всего лишь отговорки. Каждый визит к вам был напичкан отговорками.

Детям будет тебя не хватать, сказал он.

Не могу, ответила я. Иногда я пробую обойтись без валиума, но без валиума я не человек. Не хочу быть развалиной, когда Вольфганга выпустят.

Мартин понятия не имеет, что мы с Вольфгангом несколько лет назад употребляли наркотики. Правда, не сильные, поэтому без труда отвыкли.

Не хочу отступать, сказала я. Не хочу сдаваться.

Четверг, 20 января

Не знаю, сколько у нас шансов выжить. Три дня не прикасаюсь к валиуму. Окна не открываю. Задыхаюсь.

Сослуживицы, конечно, заинтересовались: в чью машину я садилась на прошлой неделе. Насчет деверя они не верят. Так уж мне на роду написано — впрочем, не все ли равно?

Не хочу думать о брате Вольфганга.

Странно. Только вот нынче вечером мне трудно сесть и написать Вольфгангу письмо. О чем я ему скажу, кроме как о своей печали? Не хочу взваливать на него еще и это.

Воскресенье, 30 января

Завтра от Вольфганга придет новое письмо, и я на него отвечу, как изо дня в день отвечаю на все письма. Знаю, наши письма читают, и все равно пишу, как мне хочется уткнуться носом в его свитер, найти защиту и покой. Но вслух я ничего не скажу. Трудно подыскивать слова, которые не причинят ему страданий.

Все очень скверно.

Вчера мне разрешили свидание. Полчаса мы пробыли вместе. Он обнимал меня за плечи, и я чувствовала запах его кожи; он пахнет не так, как раньше, когда спал со мною рядом. Я бы и сама обняла его, но впереди у нас беспросветный мрак.

Вторник, 1 февраля

Без валиума не получается.

Пятница, 4 февраля

В контору звонил брат Вольфганга.

Я не могу с тобой встретиться, сказала я, сожалею, но не могу.

У него есть для меня время.

Воскресенье, 13 февраля

Они его убивают, вот чего я боюсь. Убивают, потому что делают другим. Что, если он очерствеет и бросит меня, когда во мне отпадет нужда. А защищаться я не умею. Эти мысли не оставляют меня ни на миг.

Закричать бы, но от тишины кругом так страшно.

В обед я гуляла. Вышла подышать. Навстречу попало несколько парочек, и я повернула обратно. Невмоготу смотреть на них.

Четверг, 17 февраля

Когда после работы я вышла из конторы, Мартин ждал меня в машине. Без всякого предупреждения.

У тебя усталый вид, сказал он.

Это от валиума.

Потом я заговорила. Не смогла сдержаться.

Я всегда готов тебя выслушать, сказал он, ведь я его брат, в конце-то концов.

Мартин вздрогнул от телефонного звонка. Нехотя поднялся, прошел в спальню, к аппарату, снял трубку. Жена спросила: Ты где это пропадаешь?

Она злилась и сыпала упреками. Как обычно, ждала его с ужином. Мартин бы с радостью, не говоря ни слова, положил трубку.

Не верится мне, что у тебя там столько дел, объявила жена.

Еще полчаса, ответил Мартин и положил трубку.

Надо распорядиться, чтоб телефон отключили, подумал он, до возвращения Вольфганга.

Во время разговора он присел на край кровати, а теперь, встав на ноги, заметил, что эта спальня ничем не отличается от их собственной. Постели были убраны, шторы задернуты, шкафы закрыты, на туалетном столике порядок. Кажется, они вот-вот войдут в комнату.

Мартин быстро погасил свет, вышел и закрыл дверь. Ему не хотелось вспоминать, как он нашел Ингрид. Сжавшись в комочек, лежала она на полу. Теплившуюся в ней искорку жизни он раздуть не смог. Слишком было поздно. Он ласково

погладил ее по плечам, откинул со лба волосы, позвал по имени.

Какая уж тут помощь.

Ни гнева, ни печали Мартин давным-давно не чувствовал. Смущенный, он взял в руки последние листки.

Пятница, 5 марта.

Я никого не виню. Да и кого винить? Люди, окружающие меня, над этим не размышляют.

Вчера я встретила подругу, которую потеряла из виду, с тех пор как вышла за Вольфганга. После трехлетнего перерыва снова выкурила сигарету с травкой.

Воскресенье, 7 марта

Они слепы и глухи. Можно кричать во все горло — ответа все равно не получишь. Если я расскажу об одиночестве, меня наверняка пригласят в воскресенье на чашку кофе, но будут стыдиться, что я вообще завела об этом речь.

Можно бы позвонить Мартину. Он бы меня выслушал. Больше ведь обратиться не к кому. Да вот беда — я начинаю его любить и даже не знаю, только ли за то, что он не глух и не слеп.

Вторник, 9 марта

Виделась с Мартином. И напрасно. Так и тянет теперь позвонить ему, чтобы хоть голос услышать. Мне трудно писать Вольфгангу. Кошмар.

Суббота, 13 марта

С наркотиками стало хуже. В тех местах, где раньше можно было кое-что достать, теперь хоть шаром покати. Мне предложили героин.

Четверг, 25 марта

Я вернула себе покой и защищенность. Хорошо, когда нет больше вопросов. Кого упрекать? Закрываю глаза, и беда уходит.

Через два месяца Ингрид была мертва.

Вольфгангов брат взмок от пота. Торопливо складывает листки.

В апреле и мае он безуспешно пытался дозвониться до Ингрид. Хотел просто услышать ее голос. Увидеть ее. Изредка он подкарауливал ее после работы. Ждал в машине, когда она выйдет на улицу. Ее сослуживицы кивали ему. Но Ингрид придумывала отговорки.

Защищалась.

С тех пор он ставил машину так, чтобы Ингрид не могла ее заметить.

Мартин чувствует, как по спине ползут капли пота. Какая тоска... Он берет записки Ингрид и начинает жечь их, страницу за страницей.

На это уходит больше получаса. Впрочем, нетерпение жены, которая ждет с ужином, уже не волнует его.

Месячный баланс

Вот моя работа в течение одного месяца, причем не только за пишущей машинкой.

За этот месяц:

необходимо было закончить работу над рукописью будущей книги «Репортаж о положении старых писателей в ФРГ»;

с 9-го по 21 сентября намечены были съемки телевизионного очерка о старых писателях для Штуттгартского телевидения;

до 30 сентября необходимо было сдать план сценария документального фильма для Баварского телевидения;

а кроме того — так называемая «мелкая» работа и получение премии; плюс домашнее хозяйство, состоящее из одного мужа, двух детей и пяти комнат.

Первая неделя сентября занята ликвидацией задолженностей прежнего месяца.

Так заканчивается мой отпуск.

А кроме того, нужно ответить на письма, позвонить кое-кому по делам. Написать в конце концов две давно обещанные рецензии. Нужно успеть заключить договор с издательством на «Репортаж о положении старых писа-

телей» до того, как редактор уйдет в отпуск. Отредактировать журнал «Публикацион». Я переписываю интервью, читаю корректуры, составляю индекс издательств.

К счастью, дети пока еще на каникулах. Когда мы с мужем вдвоем, хозяйством никто не занимается. Обычно же мой рабочий день выглядит так:

шесть часов работы по дому,

шесть часов профессионального труда, иногда больше.

А в перерыве дети, которым все время нужно что-то узнать. К примеру, что такое Полярная звезда?

2.9. Работа в жюри по присуждению премии «За лучшую публикацию». Меня тут же начинают мучить сомнения, насколько вообще я имею право судить других. Ночью, около одиннадцати, я выбираю наконец-то десять «лучших» работ. Мы спускаемся вниз выпить пива.

3.9. До обеда работа с журналом «Публикацион». После обеда появляется Д. Л. Мы пишем интервью для Баварского радио, для школьной программы.

Чем интересен сегодняшнему школьнику писатель? Необычностью своей профессии? Для меня, отвечаю я, это профессия как любая другая.

4.9. и 5.9. Пишу две давным-давно просроченные рецензии.

6.9. У В. день рождения. Это ничего не меняет в нашей рабочей программе, вот только дети возвращаются вместе с бабушкой с каникул.

7.9. Начало школьных занятий у Анке. Она пошла уже в третий класс, однако просит меня проводить ее в первый день занятий в школу. В половине восьмого мы садимся в трамвай, идущий в Швабинг. В девять я уже за пишущей машинкой. Работаю над предисловием к будущей книге. До первого октября я должна представить в издательство рукопись объемом сто восемьдесят машинописных страниц.

В одиннадцать отправляюсь за покупками.

В половине двенадцатого принимаюсь готовить обед.

В двенадцать тридцать мы обедаем. В час пьем кофе.

В два часа я снова за машинкой, плотно сижу до шести. Потом нужно заняться детьми: накормить, искупать, немножко поиграть и уложить в постель.

8.9. Начало школьных занятий у Сильке. Вчера я купила

ей как первокласснице подарок. После обеда все мы отправляемся «на природу». Так распорядилась Сильке. В конце концов это ее первый день в школе.

9.9. Начинаются съемки телевизионного фильма. Утром я отвожу детей в школу. Потом до половины десятого сижу в кафе «Европа». Пытаюсь делать заметки для будущего сценария. В десять все мы собираемся у Г., четверо человек из съемочной группы и я. В половине двенадцатого я уже дома.

Готовлю обед.

В половине четвертого меня снова вытаскивают на съемки. До этого я сидела за пишущей машинкой, пыталась работать над книгой.

В семь возвращаюсь домой.

Укладываю детей спать.

10.9. Встаю в пять утра, чтобы хоть немного поработать над книгой. В семь поднимаются дети. Отвожу их в школу. И снова пытаюсь работать в кафе над сценарием.

В десять встречаюсь со съемочной группой.

Обед.

Потом работа над книгой.

В четыре снова отправляюсь на съемки.

В семь возвращаюсь домой.

Укладываю детей спать.

Поскольку работа над книгой продвигается медленнее, чем мне бы хотелось, я нервничаю, на меня наваливается депрессия. Вечно я в каком-то чудовищном стрессе.

11.9. Вместе с В. отправляюсь в Нюрнберг на вручение премии.

12.9. Вручение премии. После обеда мы стараемся как можно быстрее смыться. Берем с собой Э. К. с женой и отвозим их в Хасфурт к Д. Там встречаемся со съемочной группой. Э. К. дает интервью. Около пяти мы отправляемся дальше, в Вунзидель.

13.9. Мы доехали почти до самой чехословацкой границы. Здесь живет писатель, занявшийся на склоне лет крестьянским трудом. Проводим съемку.

После обеда пересекаем Баварский лес и направляемся к С. ф. В. в Бург Вайсенштайн. Около шести заканчиваем съемку и возвращаемся в Мюнхен.

14.9. Я совсем без сил и к тому же больна: грипп. В данный момент я не могу позволить себе такую роскошь. Между семью и восемь отвожу детей в школу.

С восьми до половины десятого работаю над сценарием в кафе «Европа».

В десять съемки.

В двенадцать обед.

С двух до половины четвертого пытаюсь работать над книгой.

В четыре съемки.

В семь я дома.

У меня высокая температура, я ничего не могу есть.

15.9. Встаю в пять, чтобы поработать над книгой. Наконец-то закончено предисловие объемом двадцать страниц и я могу начать работу с записанными на пленку интервью, которые брала у самых разных людей в течение всего первого полугодия на тему «старые писатели в ФРГ». Качество записи плохое, работать с пленками трудно.

Затем отвожу детей в школу и работаю над сценарием.

В десять и в четыре, как обычно, съемки.

В перерыве — домашнее хозяйство и машинка.

Вечером даю интервью на радио: почему это я согласилась принять премию Союза немецких промышленников? Да потому, что мне нужны деньги, черт побери! С этой системой можно бороться только ее собственным оружием. А за какую-то несчастную премию я все равно не продамся.

16.9. С пяти утра работаю над книгой. Потом отвожу детей в школу. Работаю над сценарием.

С десяти до трех работаю над книгой.

В четыре съемки.

В семь дома. Укладываю детей спать.

17.9. В точности как 16.9.

18.9. В точности как 17.9.

19.9. Воскресенье. Бабушка отправилась с детьми на осеннее народное гулянье. Я просматриваю почту.

Работа над книгой продвигается слишком медленно. Я не смогу уложиться в срок, это ясно. Материалы из отделений Союза писателей, обещанные мне еще в июле, до сих пор не поступили. Снова придется писать напоминания, звонить. Мой грипп пока еще прочно сидит во мне.

20.9. Последний день съемок. Десять дней осталось мне на сценарий. Двенадцать — на книгу.

21.9. Решила работать только над сценарием. Распорядок дня обычный.

Подъем в половине седьмого.

В половине восьмого отвожу детей в школу.

С половины десятого работаю дома над сценарием.

В половине одиннадцатого забираю Сильке из школы.

В одиннадцать отправляюсь в магазин за продуктами.

С половины двенадцатого занимаюсь готовкой.

В половине первого мы обедаем.

В час я пью кофе.

В два сажусь за сценарий.

Вечером укладываю детей спать.

22.9. Работаю над сценарием. Распорядок дня обычный.

Пришла женщина, которая обычно у нас убирается. Раз в неделю она на фоне полной моей бесхозяйственности демонстрирует отличное умение вести дом. Устроив себе небольшой перерыв, мы выпиваем по чашечке кофе, беседуем. В разговоре она бросила фразу: «Все всегда за счет маленьких людей». Я ответила: «Но маленькие люди не должны допускать такого. И если они объединятся...» «Всегда найдутся такие, что не пойдут со всеми», — заметила она. Проблема солидарности.

Хотя слово «солидарность» мы не произносили.

После обеда — работа над сценарием.

Вечером играем с детьми в «разбойников».

23.9. Работа над сценарием.

Вечером у меня готов первый вариант. Обсуждаю его с В. У него более объективный взгляд на вещи.

24.9. Начинаю дорабатывать сценарий, перепечатаваю его набело.

25.9. Работа над сценарием закончена.

Я снова начинаю работать с пленками. Интервью с пожилыми писателями. Все больше впадаю в депрессию. Ощущение подавленности, стресс.

26.9. С утра работаю над книгой.

После обеда мы отправляемся все вместе в Вюрцбург, на шестидесятилетие свекра.

28.9. Возвращаемся в Мюнхен.

Тексты от Союза писателей до сих пор не поступили

полностью.

Снова работаю с пленками.

Шесть часов работы по дому.

Шесть часов профессионального труда, иногда больше.

Придется написать редактору, что я не в состоянии выдержать предложенный им срок. Мне нужно еще немного времени. Пошлю ему первые шестьдесят страниц.

Итог: любая неделя сентября была для меня, если брать в среднем, девятичасовой рабочей неделей.

В общей сложности я отработала 360 часов, причем не только за пишущей машинкой.

В сентябре я получила:

500 марок — аванс за книгу.

1500 марок — аванс за телевизионный фильм.

В финансовом отношении это был один из наиболее благоприятных месяцев.

Нежная любовь неласковой дочери

В нашей республике был один президент. Звали его Густав Хайнеман. На вопрос, любит ли он свою страну, он, кажется, ответил так: «Я люблю свою жену». Это лишь часть ответа, но главная его часть.

Еще раньше нашу страну возглавлял президент, которого звали Теодор Хойс. Увидев первый батальон бундесвера в полной боевой готовности и в начищенных до блеска сапогах, он сказал, по-моему, следующее: «Ну, теперь победа обеспечена». Это не все, что было сказано, однако в этих словах заключен глубокий смысл.

Хайнеман и Хойс были патриотами.

Существуют и другие президенты, пока не произносившие подобных фраз. Они любили и любят свою страну.

О любви к своей стране трудно говорить. Бывает, что именно те, кто критикует родину в самой резкой форме, оказываются ее горячими приверженцами. Родина не отве-

чает им взаимностью. «Отправляйтесь-ка на ту сторону», — звучит приказ. Но «на ту сторону», даже по мнению отдающего подобный приказ, — все-таки тоже Германия...

Надо сказать: история изобилует и такими, что именуют себя вернейшими из патриотов, а на самом деле они несчастье нации. И тем не менее воспоминания о многих из подобных деятелей хранятся в народе с благоговением.

Очень странно.

Вот так — не выбирая — родишься в какой-то стране, привязываешься к ней, а живешь как на чужбине — и это надолго.

Язык и ландшафт, товарищ и враг, счастье и разочарование, успех и поражение — все эти понятия соотносятся друг с другом по-разному в зависимости от места, к которому привязаны.

Насколько легче быть человеком без корней, существом интернациональным или зауряднее и одновременно значительнее: просто человеком.

Как-никак для большинства очень важно, чтобы страна, к которой он чувствует свою принадлежность, была свободной, миролюбивой и прекрасной, обладающей авторитетом среди других народов.

Это странное ощущение.

Тот, кто под «родиной» понимает не только леса, могилы родителей или собственный домик, у кого есть стремление способствовать росту благосостояния этой родины, и тот, кто несет ответственность за нее, тот воспринимает свою любовь к ней и как скорбь — именно сегодня, когда возникает новая надежда...

Писательница Ангелика Мехтель, год рождения 1943. С тех пор как начала писать, с пристрастием наблюдает жизнь своей страны. Не события, которые в ней происходят, а людей. Она нашла здесь не слишком много достойного любви, ее писания зовут к изменению существующего порядка. В ее романе «Мы богаты, мы бедны» (“Wir sind arm, wir sind reich”, 1977) один из героев говорит: «В Германии для меня больше нет места». Это не является позицией писательницы, но такое ощущение ей близко.

Создательница романа (показательно, что в литературном языке отсутствует слово женского рода, соответствующее слову «романист») сознательно обращается в своем творчестве к будущему женщины (“Die Blindgängerin”*, 1974; “Die andere Hälfte der Welt oder Frühstücksgespräche mit Paula”***, 1980), а также к документалистике о женщинах — например, уголовных заключенных (“Ein Plädoyer für uns”***, 1975).

Однако все это совсем не рыночный товар на тему эмансипации и тем более не подтверждает то, что и исторически угнетенные имеют меньше шансов быть обвиняемыми. Гораздо в большей степени это является той самой «другой перспективой», которая сможет реализоваться, как только «патриотизм» трансформируется в образы дочери и матери, и они в свою очередь превратят лозунг о патриотизме (лозунг маскирующий, а не конкретизирующий) в антоним нежности, любви из чувства долга.

Кто придумал ее себе
Эту неласковую страну, мою родину.

Мы бы только выиграли, если бы, думая о родине, опирались на чувства как они есть и открыто говорили о них.

Не надо бояться «матриотизма».

Любвеобильные разговоры, по сути перечеркивающие «патриотизм», навязываются официальной стороной.

Остается лишь нежная любовь некоторых неласковых дочерей и сыновей, которые не приемлют подобных единокоренных ласк.

Моя ласковая мать никогда не была ко мне ласковой
Кто придумал такое: убийство матери
Ведь это песнь сдерживаемого крика

Душа отделяется от тела
Кто придумал подобное: отцеубийство
Ведь это песнь сдерживаемого крика

* «Бредущие вслепую» (нем.).

** «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» (нем.).

*** «Речь в нашу защиту» (нем.).

Как нежно дочь могла бы любить свою мать
Но кто придумал любовь
Ведь это песнь сдерживаемого крика

Ее руки успокаивают меня
Но кто выдумал покой
Ведь это песнь сдерживаемого крика

Моя ласковая мать никогда не была ко мне ласковой
Кто это решил, что
Моя мать — вот эта неласковая страна! — Кричу я

Мой крик пугает ее до смерти
Кто же придумал боль мою...

Содержание

- 5 *Н. Литвинец. Неласковая дочь мира отчуждения*
- 13 *Сны Лисички. Перевод Н. Федоровой*
- 24 *Волчата. Перевод Н. Федоровой*
- 39 *За стеклянным квадратом. Перевод Н. Литвинец*
- 62 *Денек. Перевод И. Кивель*
- 74 *Неполный рабочий день. Перевод Н. Литвинец*
- 77 *Маленькое путешествие. Перевод Н. Федоровой*
- 83 *Херб. Перевод Н. Федоровой*
- 96 *Из истории одного семейства. Перевод И. Кивель*
- 104 *Пересменка. Перевод И. Кивель*
- 106 *Катрин. Перевод Н. Литвинец*
- 109 *Но в снах своих ты размышлял. Перевод Н. Федоровой*
- 123 *На перевале. Перевод И. Кивель*
- 133 *Дважды по сыну. Перевод Н. Федоровой*
- 137 *Не в своем уме. Перевод Н. Федоровой*
- 148 *Промывочная фабрика. Перевод Н. Федоровой*
- 156 *Кукольное личико. Перевод Н. Федоровой*
- 174 *Месячный баланс. Перевод Н. Литвинец*
- 179 *Нежная любовь неласковой дочери. Перевод И. Кивель*

Мехтель А.

М55 Но в снах своих ты размышлял: Рассказы/
Пер. с нем. Предисл. и сост. Нины Литвинец.—
М.: Известия, 1989.— 192 с. (Библиотека жур-
нала «Иностранная литература»)

Рассказы сборника разнообразны по тематике, но объединены общей мыслью: современное западное общество остается обществом отчуждения. Для многих людей жизнь в нем нередко оборачивается стрессами, ведет к трагическим развязкам.

М 4703000000-011 68-89
074(02)-89

ББК 84.4Ф
И(Нем)

АНГЕЛИКА МЕХТЕЛЬ

НО В СНАХ СВОИХ ТЫ РАЗМЫШЛЯЛ

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1315

Сдано в набор 12.10.88. Подписано в печать 10.07.89. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1144. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

**В Библиотеке журнала
«Иностранная литература» вышли в свет:**

- | | |
|--|--|
| 1 Герман Кант (ГДР) «Объяснимое чудо» | 9 Рэй Брэдбери (США) «В дни вечной весны» |
| 2 Ясуси Иноуэ (Япония) «Три новеллы» | 10 Яшар Кемаль (Турция) «Легенда Горы» |
| 3 Леонардо Шаша (Италия) «Палермские убийцы» | 11 Джон Чивер (США) «Еще одна житейская история» |
| 4 Надин Гордимер (ЮАР) «Дом Инкаламу» | 12 Сьюзен Хилл (Великобритания) «Самервил» |
| 5 Хоакин Сантана (Куба) «Воспоминания об улице Магнолии» | 13 Тонино Гуэрра (Италия) «Стая птиц» |
| 6 Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) «В поисках Изумрудного города» | 14 Эржебет Галгоци (Венгрия) «Вдова села» |
| 7 Арман Лану (Франция) «Песочные замки» | 15 Сид Чаплин (Великобритания) «Тонкий шов» |
| 8 Иоахим Новотный (ГДР) «Новость» | 16 Джеймс Джойс (Ирландия) «Дублинцы» |

17 Фарли Моуэт
(Канада)
«Вперед, мой брат,
вперед!»

18 Юхан Борген
(Норвегия)
«Декабрьское солнце»

19 Энгус Уилсон
(Великобритания)
«Что едят бегемоты»

20 Натали Саррот
(Франция)
«Вы слышите их?»

21 Радослав Михайлов
(Болгария)
«Властители земли»

22 Армандо Роблес Годой
(Перу)
«В сельве нет звезд»

23 Вильям Сассин
(Гвинея)
«Вирьяму»

24 Йозеф Пушкаш
(Чехословакия)
«Приятные
разочарования»

25 Яхья Яхлюф
(Палестина)
«Наджран в час
испытаний»

26 Костас Варналис
(Греция)
«Дневник Пенелопы»

27 Хуан Карлос Онетти
(Уругвай)
«Лицо несчастья»

28 Элио Витторини
(Италия)
«Сицилийские беседы»

29 Сётаро Ясуока
(Япония)
«Морской пейзаж»

30 Франсуа Мориак
(Франция)
«Агнец»

31 Меджа Мванги (Кения)
«Жертва
для гончих псов»

32 Ярослав Гашек
(Чехословакия)
«Талантливый человек»

- 33 Мария Луиза Кашниц
(ФРГ)
«Длинные тени»
- 34 «Валлийский рассказ»
- 35 Мигель Делибес
(Испания)
«Опальный принц»
- 36 Алан Маршалл
(Австралия)
«Пишу о тех,
кого люблю»
- 37 Михаил Садовяну
(Румыния)
«Чекан»
- 38 Вейо Мери
(Финляндия)
«Обед за один доллар»
- 39 Хулио Кортасар
(Аргентина)
«Непрерывность парков»
- 40 Гопинатх Моханти,
Кришна Собти
(Индия)
«Чертова Митро»
- 41 Юлиан Кавалец
(Польша)
«Свадебный марш»
- 42 Душан Калич
(Югославия)
«Вкус пепла»
- 43 Густаво Эгурен
(Куба)
«Окно на лужайку»
- 44 Элизабет Боуэн
(Великобритания)
«Плющ оплел ступени»
- 45 «Современная
китайская проза»
- 46 Александр
Карасимеонов
(Болгария)
«Двойная игра»
- 47 Иштван Эркень
(Венгрия)
«Путь к гротеску»
- 48 Луи Арагон
(Франция)
«Римские свидания»

- 49 Хорхе Луис Борхес
(Аргентина)
«Юг»
- 50 Джеймс Планкетт
(Ирландия)
«Паутина»
- 51 Видиа С. Найпол
(Тринидад)
«Улица Мигель»
- 52 «Ветер с моря»
(Чилийская литература
Сопротивления)
- 53 Эрве Базен (Франция)
«Во что я верю»
- 54 Джон Гарднер (США)
«Искусство жить»
- 55 Ясунари Кавабата
(Япония)
«Старая столица»
- 56 «Скальпель Оккама»
(Сборник зарубежной
фантастики)
- 57 Юрий Брезан (ГДР)
«Черная мельница»
- 58 Дэвид Герберт
Лоуренс
(Великобритания)
«Дочь лошаdnика»
- 59 Жан-Марк Робер
(Франция)
«Чужие дела»
- 60 Винцент Шикула
(Чехословакия)
«Солдат»
- 61 Питер Устинов
(Великобритания)
«День состоит
из 43 200 секунд»
- 62 Дино Буццати
(Италия)
«Семь гонцов»
- 63 Жан Кокто (Франция)
«Портреты-
воспоминания»
- 64 Фрэнсис Кинг
(Великобритания)
«Дом»

- 65 Эдуардо Галеано
(Уругвай)
«Дни и ночи
любви и войны»
- 66 Кэтрин Энн Портер
(США)
«Полуденное вино»
- 67 Али Окля Орсан
(Сирия)
«Голанские высоты»
- 68 Зигфрид Ленц (ФРГ)
«Запах мирабели»
- 69 Кобо Абэ (Япония)
«Тайное свидание»
- 70 Доржийн Гарма
(Монголия)
«Первые шаги»
- 71 Хорхе Ибаргуэнгойтия
(Мексика)
«Убейте льва»
- 72 Ральф Эллисон (США)
«Король американского
лото»
- 73 Мигель Анхель
Астуриас
(Гватемала)
«Зеркало Лиды Саль»
- 74 «Канадская новелла»
- 75 Герман Гессе
(Швейцария)
«Последнее лето
Клингзора»
- 76 Джузеппе Понтиджа
(Италия)
«Луч тени»
- 77 Эйвинд Юнсон
(Швеция)
«Зимняя игра»
- 78 Ежи Эдигей
(Польша)
«Идея в семь
миллионов»
- 79 Патрик Уайт
(Австралия)
«Женская рука»
- 80 Вирджиния Вулф
(Великобритания)
«Флаш»

- 81 Пх. Рену
(Индия)
«Заведение»
- 82 Уильям Тревор
(Великобритания)
«За чертой»
- 83 Шон О'Фаолейн
(Ирландия)
«Безумие в летнюю ночь»
- 84 Элисео Диего
(Куба)
«Дивертисменты»
- 85 Иштван Сабо
(Венгрия)
«То памятное утро»
- 86 Элис Уокер
(США)
«Красные петунии»
- 87 Уильям Сароян
(США)
«Случайные встречи»
- 88 «Бельгийская новелла»
- 89 Ник Хоакин
(Филиппины)
«Пещера и тени»
- 90 Лижия Ф. Теллес
(Бразилия)
«Рука на плече»
- 91 Дж. К. Оутс
(США)
«Венец славы»
- 92 Джон Кольер
(Великобритания)
«Карты правду говорят»
- 93 Анна Зегерс
(ГДР)
«Неизвестные страницы»
- 94 Эрвин Лазар
(Венгрия)
«Фокусник»
- 95 «Дорога к замку»
(Современная японская
новелла)
- 96 Патрик Модино
(Франция)
«Улица Темных Лавок»

- 97 Ханс Кристиан
Браннер
(Дания)
«Корабль»
- 98 Адольфо Бьой Касарес
(Аргентина)
«Теневая сторона»
- 99 Жильбер Сесброн
(Франция)
«Елисейские поля»
- 100 Виктор С. Притчетт
(Великобритания)
«Фантазеры»
- 101 Томмазо Ландольфи
(Италия)
«Солнечный удар»
- 102 «Ганская новелла»
- 103 Эдна О'Брайен
(Ирландия)
«Возвращение»
- 104 Раймонд Карвер
(США)
«Собор»
- 105 «Первый дождь»
(Стихи и рассказы
никарагуанских
писателей)
- 106 Томас Вулф
(США)
- 107 Антон Дончев
(Болгария)
«Юность хана Аспаруха»
- 108 Бапси Сидхва
(Пакистан)
«Огнепоклонники»
- 109 Франц Кафка
(Австрия)
«Из дневников.
Письмо отцу»
- 110 Райнер Мария
Рильке
(Австрия)
«Записки Мальте
Лауридса Бригге»
- 111 Веркор (Франция)
«Плот Медузы»
- 112 Эмиль Ажар
(Франция)
«Жизнь впереди»

- 113 Луиш де Стау Монтейро
(Португалия)
«А на ужин — тоска»
- 114 Ингмар Бергман
(Швеция)
«Осенняя соната»
- 115 «Дело рук компьютера»
(Сборник научно-
фантастических
рассказов)
- 116 Иржи Марек
(Чехословакия)
«Тристан, или
О любви»
- 117 Збигнев Бжозовский
(Польша)
«Баллада о Чертике»
- 118 Артуро Услар Пьетри
(Венесуэла)
«Дождь»
- 119 «Встреча»
(Из современной
румынской прозы)
- 120 Стивен Винсент Бене
(США)
«За зубом
к Полю Ревире»
- 121 Мануэль Пуиг
(Аргентина)
«Предательство
Риты Хейворт»
- 122 Сэмюэль Беккет
(Ирландия)
«Изгнанник»
- 123 Хорхе Семпрун
(Франция)
«Долгий путь»
- 124 Урсула Ле Гуин
(США)
«Порог»
- 125 Кристоф Хайн
(ГДР)
«Смерть Хорна»



Ангелика Мехтель (р. 1943) — немецкая писательница (ФРГ). Известна советскому читателю по некоторым переводам. Все книги Мехтель обращены к современной западной действительности с ее социальными и человеческими проблемами. Основные произведения писательницы: "Проигранные игры" (1970), "Хочешь не хочешь" (1972), "Стеклянный рай" (1973), "Мы богаты, мы бедны" (1977), "Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой" (1980), "Бог и сказительница" (1983), "Путешествие в Тамерлэнд" (1985). Кроме художественной прозы, значительное место в творчестве писательницы занимает публицистика.